

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ISSN 0132-1366

№ 275  
лет

МАК

*Мир*

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



# СЛАВЯНО · ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

# РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения

# Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Содержание

5  
1999

СЕНТЯБРЬ •

ОКТАБРЬ •

## СТАТЬИ

### К 275-летию Российской академии наук

|   |    |
|---|----|
| <i>Аксенова Е.П.</i> (Москва). Академик А.Н. Пыпин и вопросы украинского национального возрождения .....                                  | 3  |
| <i>Лабынцев Ю.А., Шавинская Л.Л.</i> (Москва). Между Востоком и Западом Европы: Культура народов Великого княжества Литовского .....      | 20 |
| <i>Топоров В.Н.</i> (Москва). Мартинас Мажвидас в контексте его времени (К 450-летию со дня выхода в свет первой литовской книги) .....   | 25 |
| <i>Зинкявичюс Э.</i> (Вильнюс). Древнейшие литовские тексты до Мартинаса Мажвидаса .....  | 33 |
| <i>Куолис Д.</i> (Вильнюс). Понятие "литовец" и "Литва" в литовской письменности XVI–XVII веков .....                                     | 37 |
| <i>Дини Пьетро У.</i> (Пиза). Заметки об истоках балтийской лингвистики .....   | 42 |
| <i>Лабынцев Ю.А.</i> (Москва). Древнелитовская кирилловская письменная традиция и "Катехизис" М. Мажвидаса .....                          | 48 |
| <i>Досталь М.Ю.</i> (Москва). Всеславянский аспект теории официальной народности .....  | 52 |
| <i>Смоленчук А.Ф.</i> (Гродно). Белорусская историография второй половины XIX – начала XX века и становление национальной идеологии ..... | 60 |
| <i>Борисенок Е.Ю.</i> (Москва). Украинизация 1920–1930-х годов в СССР в освещении современной украинской историографии .....              | 68 |
| <i>Фрейдзон В.И.</i> (Москва). О хорватской историографии 1950–1980-х годов по национальной идеологии до возникновения Югославии.....     | 78 |
| <i>Келли К.</i> (Оксфорд). Быт и самобытность: русские консерваторы и культ домашности, 1800–1860-е годы.....                             | 88 |

## СООБЩЕНИЯ

|  |     |
|--|-----|
| <i>Косик В.И.</i> (Москва). Забытая страница (из послевоенной истории Русской церкви в Югославии)..... | 101 |
|--|-----|

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

|   |     |
|---|-----|
| <i>Досталь М.Ю.</i> Г.В. Рокина, Ян Коллар и Россия: История идеи славянской взаимности в российском обществе первой половины XIX в. .... | 106 |
| <i>Клопова М.Э.</i> Cz. Partacz. Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888–1908 .....                | 107 |
| <i>Кареева Е. М.</i> Todorova. Imagining the Balkans .....  | 110 |
| <i>Усенко Е. Т.</i> Judah. The Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia .....   | 111 |
| <i>Усикова Р.П.</i> Видоески. Дијалектите на македонскиот јазик .....   | 113 |

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

|   |     |
|---|-----|
| <i>Носов Б.В.</i> Международная научная конференция "Станислав Август и его эпоха: 200-летие кончины последнего короля Речи Посполитой" ..... | 117 |
|---|-----|

## PERSONALIA

|  |     |
|--|-----|
| <i>Волков В.К.</i> Памяти профессора Михаила Бачварова (1929–1997) ..... | 121 |
| <i>Шерлаимова С.</i> Памяти Владимира Мацуры .....                       | 122 |
| Новые издания Института славяноведения РАН .....                         | 124 |

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Ю.С. НОВОПАШИН** (главный редактор), **А.В. БОЛДОВ** (отв. секретарь),  
**М.А. ВАСИЛЬЕВ**, **Г.К. ВЕНЕДИКТОВ**, **В.К. ВОЛКОВ**, **Р.П. ГРИШИНА**,  
**А.А. ГУГНИН**, **В.И. КОСИК**, **Г.Ф. МАТВЕЕВ**, **Г.П. МЕЛЬНИКОВ**,  
**В.В. МОЧАЛОВА**, **С.В. НИКОЛЬСКИЙ**, **В.Я. ПЕТРУХИН**,  
**М.А. РОБИНСОН** (первый зам. главного редактора),  
**Л.А. СОФРОНОВА** (зам. главного редактора), **Б.Н. ФЛОРЯ**,  
**В.А. ХОРЕВ**, **Т.В. ЦИВЬЯН** (зам. главного редактора)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),  
*Белова О.В.* (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),  
*Васильев М.А.* (отдел истории)

Зав. редакцией *И.И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А.*, *Веслова И.Ю.*, *Кошкина Е.А.*



**К 275-летию Российской академии наук**© 1999 г. *Е.П. АКСЕНОВА***АКАДЕМИК А.Н. ПЫПИН И ВОПРОСЫ УКРАИНСКОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Академик Александр Николаевич Пыпин (1833–1904), видный представитель культурно-исторической школы в русском академическом литературоведении, известен своими трудами в области истории литературы, этнографии, истории общественных движений и общественной мысли. Формирование его личности, мировоззрения и гражданской позиции проходило под влиянием демократических кругов, и в течение всей жизни Пыпин придерживался умеренно-демократических и либерально-просветительских взглядов, не разделяя крайностей идеологических концепций ни правых, ни левых общественно-политических течений. Пыпин окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1853) со степенью кандидата. После защиты магистерской диссертации ("Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских", 1857) был командирован за границу для приготовления к профессорскому званию (1858–1859). В 1860–1861 гг. молодой ученый является экстраординарным профессором кафедры западноевропейских литератур Петербургского университета. Выйдя в отставку, он всецело занялся публицистической и научной деятельностью. Пыпин сотрудничал в журналах "Современник", "Отечественные записки", "Вестник Европы".

Огромная эрудиция и разносторонние научные интересы А.Н. Пыпина нашли отражение в его многочисленных (около 1200) трудах. В 1871 г. ученый был избран в состав Российской императорской академии наук, однако из-за "неблагонадежности"<sup>1</sup> Пыпина на решение ежегодного собрания академиков не получило высочайшего утверждения. "Академическая история" Пыпина завершилась лишь в 1890-х годах избранием его сначала членом-корреспондентом (1891), а затем – действительным членом АН (1898) [1].

Одним из первых российских ученых А.Н. Пыпин, пристально исследовавший процесс славянского возрождения, славянскую этнографию, историю славянских литератур, обратил серьезное внимание на национальный подъем и общественное движение в поддержку национального развития украинского народа в XIX в.

Знакомство Пыпина с украинскими "проблемами" началось, по его воспоминаниям,

---

Аксенова Елена Петровна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

<sup>1</sup> А.Н. Пыпину припомнили и протест против реакционной политики властей в отношении студентов, и характер его статей в "Современнике", и родственные связи с Н.Г. Чернышевским.

в кружке учеников И.И. Срезневского, где Д.Л. Мордовцев выступал "проводником малорусской литературы" и "начатков украинофильства" [2. С. 113–114].

Наиболее ранним обращением Пыпина к украинской теме является его рецензия на первый том "Записок о Южной Руси", выпущенных П.А. Кулишом [3] (в прошлом – членом Кирилло-Мефодиевского общества). Первый том этого издания Пыпин назвал "энциклопедией разнообразных сведений о народе, говорящем языком южнорусским"<sup>2</sup> и подчеркнул, что оно выгодно отличается от аналогичных изданий Н.А. Цертелева [4], М.А. Максимовича [5; 6], А.Л. Метлинского [7] и других, поскольку в нем прослеживается связь народного творчества с историческим процессом и народным бытом. [3. С. 11–12, 21]. К недостаткам издания Пыпин относил комментарии издателя, его пристрастный взгляд на украинскую народную поэзию. Решительно не соглашаясь с утверждением Кулиша о принадлежности "Слова о полку Игореве" к древней украинской литературе, Пыпин утверждал, что нельзя определить "национальность" этого памятника, поскольку в период его создания просто не существовало "отдельной южнорусской народности" [3, С. 13–14, 17].

Откликаясь на выход второго тома "Записок о Южной Руси", Пыпин отмечал, что, как и в случае с первым томом, его ценность снижается из-за "отсутствия научных оснований, дилетантского взгляда" и пристрастного отношения к изучаемому народу. Рецензент подчеркивал, что украинские песни, сказки, обычаи, предания "не могут считаться явлениями единственными в своем роде, как иногда представляется малорусским исследователям", аналогичные явления есть и в жизни других народов (в частности, он приводил множество примеров сходства содержания, идей, деталей русских и украинских сказок) [8. С. 4, 17–23].

Положительно оценивал Пыпин исторические публикации второго тома, особенно материалы о гайдамаках [8. С. 5]. По поводу помещенной там же статьи польского историка М. Грабовского [9] о причинах украинско-польской розни в XVII в. критик писал, что в ней ярко отражены национальные предрассудки автора, оправдывавшего поляков и обвинявшего украинцев. По мнению Пыпина, социальное, национальное, религиозное угнетение украинского народа – это не "частные обиды" (М. Грабовский), а серьезные причины, приведшие к "всенародному восстанию на жизнь и смерть" за "самые обыкновенные человеческие права" (в которых украинцам отказывал польский историк) [8. С. 11–13].

Версия П.А. Кулиша [10. С. 321–325] относительно того, что восстание под предводительством Хмельницкого разгорелось "из-за оскорбленного чувства человеческого достоинства", вероятно, не вызвало бы возражения Пыпина, если бы издатель не прибавил, что в истории не было "ни одной борьбы, которая бы ведена была из-за такого высокого принципа" [10, С. 325]. По этому поводу Пыпин замечает, что Кулиш возвел "напраслину на всемирную историю", в которой, "начиная с восстания римских невольников, множество народных волнений имело тот же смысл"<sup>3</sup> [8. С. 14].

Критику со стороны Пыпина вызвало и помещение Кулишом в рецензируемое издание рассуждений И. Могилевского об украинском языке [11], относящихся к 1820-м годам, когда научного сравнительно-исторического изучения "славянских наречий почти не существовало". Как полагал Пыпин, издателю это понадобилось для того, чтобы утвердить "догмат о независимости, давности и богатстве южнорусского языка" [8. С. 15–16].

Предостерегая исследователей от "одностороннего пристрастия к предмету", приводящего к ошибочным выводам, Пыпин признавал, что "первые опыты" публикации материалов, относящихся к прошлому Украины, имеют важное значение для этнографических и исторических работ [8. С. 24]. Изучение народного быта, языка и

<sup>2</sup> В работах, посвященных Украине, Пыпин чаще пользуется определениями "малорусский", "южнорусский" (наиболее употребительными в течение всего XIX в.), но наряду с ними – и термином "украинский".

<sup>3</sup> Ранее он замечал, что Кулиш "возвел напраслину на все европейские литературы", полагая, что в них нет ничего равного поэме Т.Г. Шевченко "Наймичка" "по наивности и трогательности содержания" [8. С. 5].

истории, занимавшее в возрожденческих процессах заметное место, требовало, по убеждению Пыпина, серьезного научного подхода с использованием сравнительного метода, поскольку "нельзя решать вопроса о малорусской жизни и поэзии... вне связи их с однородными явлениями других племен, особенно великорусского, наиболее близкого к нему" [8. С. 24].

В 1860 г. Пыпин откликнулся рецензией на выпущенный П.А. Кулишом литературный сборник "Хата" [12. С. 115–119]. Внимательно следивший за процессом возрождения Пыпин отметил начало новой фазы (первую он относил к 1830–1840-м годам) развития украинского самосознания, нашедшего воплощение прежде всего в произведениях поэтов и писателей. Рецензент подчеркивал, что украинская литература еще не приобрела "общечеловеческого значения" и не может быть поставлена в один ряд с английской, немецкой, русской литературой. О перспективах развития украинской литературы, характерной чертой которой Пыпин считал народность, он высказывался достаточно осторожно [12. С. 116]. Попытки создания собственной литературы, по мнению ученого, отражали "действительную народную потребность". Но он не был уверен, что "чумацкой жизни и гайдамацких воспоминаний" хватит для дальнейшего развития украинской литературы и «не придется ли ей опять сознательно сойтись с "соседней словесностью"», имеющей более глубокое содержание [12. С. 117]. В то время под влиянием революционеров-демократов Пыпин рассматривал нарождавшиеся литературы некоторых славянских народов как "крайнее преувеличение национального начала", как ненужное распыление сил, которые должны быть направлены на общую борьбу [13. С. 207]<sup>4</sup>. Но, внимательно изучая славянское движение вообще и украинское, в частности, Пыпин с большим уважением относился к любым проявлениям национальной жизни, и вскоре вопрос о самостоятельности украинской литературы как одной из форм духовной жизни народа для него уже не стоял.

Еще будучи молодым ученым Пыпин ощутил нехватку обобщающих трудов, посвященных изучению славянства, и решил написать именно такие работы по истории славянских литератур и этнографии "с объяснительными введениями и указанием литературы предмета" [2. С. 88]. Части, относящиеся к Украине, занимают в них свое законное место. Так, в "Обзоре истории славянских литератур" [13] (соавтором книги В.Д. Спасьевичем была написана для нее глава о польской литературе) специальный раздел посвящен украинской литературе. Однако, считая литературу отражением жизни, Пыпин значительно расширил рамки изучаемого предмета (в связи с этим раздел носит название "Малорусы", а не "Малорусская литература").

А.Н. Пыпин обращает внимание на то, что украинский национальный вопрос аналогичен тем, "какие порождено не раз славянское возрождение". В данном случае речь идет прежде всего "о степени отдельности и автономии малороссийской народности, языка и литературы". Это вызвало противоположное отношение к национальным стремлениям украинцев у сторонников и противников национальной самостоятельности как в сфере культуры, так и в сфере политики [13. С. 206].

Кратковременный подъем национального движения привел к ответным реакционным действиям со стороны властей (см. [14. С. 32–33]). Пыпин понимал, что в такой обстановке очень трудно высказать объективное мнение об украинском возрождении [13. С. 206–207], и, используя историографический подход, пошел по пути изложения различных суждений по этому вопросу.

Во многих работах украинских исследователей, отмечал Пыпин, существует мнение о древности украинской народности, которая была "зерном" русской истории киевского периода; при этом украинский язык рассматривался ими как исконный язык этого народа. Противоположная точка зрения (М.П. Погодин) состояла в том, что жителями Южной Руси в древности были великорусы, а малорусы пришли туда

<sup>4</sup> Правда, на склоне лет Пыпин вспоминал, что уже в их студенческом кружке на украинскую литературу смотрели с "точки зрения славянского возрождения", признавая ее право на существование, если уж "малейшие оттенки славянского племени" – лужичане, словаки, "в соседней Галиции те же малорусы начинали свою литературу" [2. С. 114–115].

из-за Карпат после татарского нашествия. Иное мнение, которое разделял и Пыпин, сводилось к тому, что украинская народность и язык выделились из общей древнерусской основы не ранее XIII–XIV вв. Памятники более ранней эпохи не имеют признаков "самобытности малорусского наречия" [13. С. 207]. Племена, населявшие Киевскую Русь, имели "тесные политические и религиозные связи", соединялись "в общей письменности и в общих национальных преданиях", представляя собой некую "политическую федерацию" (концепция Н.И. Костомарова [15]) [13. С. 212].

Продолжая исторический экскурс, Пыпин останавливался на "изменениях в политическом положении и общественных отношениях южной Руси", в результате которых часть украинских земель оказалась под властью Польши, другая – соединилась с Московским государством; при этом обе части испытали довольно заметное инонациональное влияние (этим, в частности, Пыпин объясняет отсутствие украинской литературы вплоть до XIX в.) [13. С. 213].

Первый этап национального "литературного движения" Пыпин относит к 1830-м годам, когда "малорусская литература наиболее отмечена ревнивым стремлением народности заявить свою отдельность и право на независимое культурное развитие". Перечисляя имена писателей, внесших в это "плодовитое время" немалый вклад в развитие украинской литературы, Пыпин выделяет среди них Т.Г. Шевченко – "талантливейшего представителя малорусской литературы", "малороссийского патриота и демократа", чуждого, по его мнению, "всякой религиозной и национальной нетерпимости", а также "крайних национальных увлечений". Благодаря этим качествам Шевченко представляется Пыпину "самым сильным и характерным явлением малорусской литературы... вообще" [13. С. 219–225].

Новый этап украинского литературного процесса Пыпин относил к концу 1850-х годов. Стремясь прежде всего выявить положительный вклад того или иного литератора<sup>5</sup>, он отмечал появление многих новых имен украинских писателей (среди них – Марко Вовчок). Ученый отдавал должное деятелям украинского возрождения, которые издали немало сборников народных песен и заняли одно из первых мест среди славян "по развитию народной поэзии" [13. С. 227–228].

Следующий раздел "Обзора" ("Галицкие русины") Пыпин посвятил восточнославянскому населению Галичины. Он не ставил точки над *i* в вопросах этнического родства, но замечал, что "народность русинов близка к малорусской". Однако в политическом отношении они разъединены, так как входят в состав разных государств – Австрийской и Российской империй. Живущие по разные стороны границы "малорусы" и "русины" не могут даже "соединить своих литературных сил и привести свой литературный язык к одному знаменателю" [13. С. 232].

Национально-культурные устремления русинов, отмечал Пыпин, начали проявляться в 1830-х годах, когда в общественной и литературной жизни Галиции нашли отражение идеи славянского единения и украинского национального движения. В 1848 г. была основана Галицко-русская матица, стал выходить журнал "Зоря Галицка"; в котором ставились задачи национального развития и отражался интерес к истории и литературе галичан, а также к русской и украинской литературе [13. С. 232, 237]. Вместе с тем Пыпин напоминал, что и в 60-е годы русинская литература "еще не установилась вполне ни относительно литературных форм и языка, ни азбуки" и что "размеры и уровень" ее – "невелики". Причину этого он видел не только в объективных факторах национального развития, но и в "политической интриге" – в столкновении интересов различных общественно-политических сил в Галиции [13. С. 232, 237–238], где наибольшее влияние имели "москвофилы" и "народовцы" (подробнее см. [14. С. 34]).

<sup>5</sup> Так, П.А. Кулиша (которого Пыпин не только хвалил, но и подвергал заслуженной критике) он характеризовал как "плодовитейшего из малорусских писателей и наиболее ревностного защитника национального малорусского интереса в литературе", автора поэм, стихов, романов, рассказов, этнографических, исторических и литературоведческих трудов. Выработку им украинской орфографии Пыпин считал "делом не последней важности" [13. С. 226–227].

В центре разногласий оказались проблемы литературного языка, азбуки, правописания, что было одним из важнейших пунктов в борьбе по вопросу об идентичности. Для выработки своего особого литературного языка ("речения") москвофилы из газеты "Слово" пытались искусственно соединить основы церковно-славянского языка с особенностями местного диалекта и пополнить его новоизобретенными словами (при полном неприятии украинского языка). В начале 60-х годов XIX в. русинская языковая проблема дискутировалась на страницах российских журналов и газет. Славянофильски ориентированные публицисты поддерживали позиции "Слова", демократические и украинофильские органы печати считали курс, взятый львовской газетой, антинародным, сеющим рознь и не способствующим объединению сил для борьбы за самостоятельное национальное развитие<sup>6</sup>. Расстановка национальных сил была весьма запутанной (те, чьим рупором являлась газета "Слово", с одной стороны, тяготели к России и русской культуре, с другой – демонстрировали приверженность к австрийскому "отечеству"). В связи с этим Пыпин замечал, что проникшимся славянской идеей русинским "патриотам" следовало бы сначала разобраться в своих собственных национальных отношениях [13. С. 237–238].

Почти через полтора десятка лет с момента выхода "Обзора истории славянских литератур" авторы издали его доработанный и дополненный вариант [17]. "История славянских литератур" принципиально не отличается от "Обзора", но в ней шире охват литературы, более подробное изложение, определеннее расставлены акценты (на некоторых позициях Пыпина отразилось влияние украиноведческой историографии<sup>7</sup>). Тем не менее сравнение этих трудов представляет определенный интерес с точки зрения эволюции взглядов ученого в ракурсе рассматриваемой темы.

Раздел, посвященный украинской литературе, назван в новой книге "Южнорусы"<sup>8</sup> [17. С. 306–387]. В нем Пыпин усиливает общественно-исторический подход к объекту исследования, однако не в ущерб историко-литературному аспекту работы. Пристальное внимание он уделяет разъяснению общественно-политической сущности и значения украинофильского движения. Ссылаясь на известные науке данные, Пыпин не отрицал "давнего и непрерывного бытия южнорусской народности" [17. С. 310], но в то же время еще раз подтверждал свою точку зрения на то, что ясно выраженные отличия восточнославянских языков (а следовательно, и национальностей) появляются с XIV в. в связи с политическим обособлением "севера" от "юга" [17. С. 309, 325]. В XVII в. обнаруживаются первые попытки литературной деятельности на Украине, правда, в области религиозной [17. С. 326]. Но истинное развитие украинской литературы, которое Пыпин называет уже вполне определенно "явлением историческим и необходимым" [17. С. 306], он связывает с таким же, как и у других славянских народов, процессом "пробуждение народного чувства". Именно с этой точки зрения он предлагал подходить и к украинскому движению [17. С. 352].

В русле этого процесса ученый рассматривает и деятельность Кирилло-Мефодиевского общества (о чем в "Обзоре" он прямо не писал), характеризуя его как кружок патриотов, стремившихся к развитию украинского народа и распространению идеи славянской взаимности. Пыпин подчеркивал, что общество было основано на идеях гуманизма и просвещения, которые должны были внедряться в массы методом убеждения, без насилия [17. С. 375–376] (он не мог не знать о радикальном крыле общества, но, видимо, по цензурным соображениям предпочел об этом умолчать). Ав-

<sup>6</sup> С принципиально важных позиций по этому вопросу выступил Н.Г. Чернышевский на страницах "Современника". Рассматривая русинов как часть "малорусского племени", он считал, что в интересах их культурного развития им следует ориентироваться на украинский язык, а в плане национальной и социальной борьбы. – на союз освободительных сил украинцев и поляков (против которых было настроено "Слово") [16].

<sup>7</sup> В частности, концепции Н.И. Костомарова, которого Пыпин называет, несмотря на несогласие с некоторыми взглядами историка, "лучшим выразителем южнорусского исторического сознания" [17. С. 373].

<sup>8</sup> Этот термин со временем Пыпин стал воспринимать как более точный, нежели термин "малорусы", который "в географическом и историческом смысле не обнимает всего южного племени" [17. С. 315].



тор обращал внимание на то, что политический идеал членов общества (федерация славянских народов) не был похож на славянофильский идеал. Перечисляя программные положения общества, Пыпин отмечал, что эти же устремления нашли отражение в тогдашней украинской литературе. Как бы подводя итог недолгой деятельности членов общества, которая была "прервана" в 1847 г. (намек на разгром общества и преследование его членов), Пыпин замечал, что в их воззрениях "было много исторически верного и человечески справедливого" [17. С. 376–377].

Активизация украинского национального движения (которое, по оценке Пыпина, стало более серьезным) в конце 50-х – начале 60-х годов XIX в. совпало с "началом новейшего *украинофильства*", "крупным и влиятельным фактом" которого, как считал ученый, был журнал "Основа" – выходивший в Петербурге печатный орган деятелей украинского возрождения. Недостатки "Основы" Пыпин видел в том, что ее содержание было "ограничено только предметами чисто украинскими" и "в ее теориях дело украинофильства утверждалось больше на непосредственной, но неясной любви к родному краю и племени, чем на определенной мысли о свободе личной и общественной, свободе научного исследования". Пыпин обращал внимание на то, что в подходах украинских деятелей к национальному вопросу чувствовался еще дилетантизм [17. С. 377–378].

Тем не менее, Пыпин встает на защиту украинофилов от обвинений в политической неблагонадежности, в сепаратизме, в сговоре с польскими повстанцами и т.д. Он подчеркивает, что украинское движение не что иное, как проявление народного самосознания. В украинофильстве выразилась любовь к своему народу, желание просветить народ (период подготовки и отмены крепостного права способствовал еще более пристальному вниманию к жизни и нуждам народных масс), защитить существование национальных особенностей. Это отразилось и в литературе [17. С. 378–380, 382]. Пыпин напоминал, что украинское движение пользовалось сочувствием и пониманием в некоторых слоях российского общества (имея в виду прежде всего демократические круги) [17. С. 387].

Не успев набрать силу, украинофильство столкнулось с серьезными препятствиями, связанными с "реакционными тенденциями" во внутренней политике страны (прекращение издания "Основы", украинофобские выступления в некоторых органах печати, запрещение преподавания на украинском языке в школах, закрытие воскресных школ и т.д.). Этот период украинофильства завершился, как считал Пыпин, в 1876 г.<sup>9</sup> закрытием в Киеве юго-западного отдела Русского географического общества [17. С. 384, 386]. Пыпин считал, что подобные действия, вызывавшие взаимную "неприязнь", способны принести вред обеим сторонам, если забыть, что "сила целого достигается развитием частей" [17. С. 386].

В "Истории славянских литератур", как и в "Обзоре истории славянских литератур", специальный раздел посвящен галицким русинам. Пыпин отмечал, что внутри галицкого общества по-прежнему существуют серьезные разногласия и представители враждующих партий, проповедующих "общеруссизм" и "племенную индивидуальность", никак не выяснят своего отношения к "двум русским народностям" (великорусской и малорусской) [17. С. 437–438].

Пыпин более определенно, чем в "Обзоре", высказывался в пользу версии, что русины и малорусы – один народ (по народному характеру, языку и истории), но они жили порознь и это выработало некоторые отличия друг от друга, так что их единство – "относительное" [17. С. 438–439]. В 1860-е годы, по наблюдению автора, наметилась тенденция сближения русинской литературы с украинской (в чем он видел

<sup>9</sup> Возможно, Пыпин специально акцентировал внимание на этой дате, так как в это же время была запрещена деятельность украинских национально-просветительских организаций – громад (их работа, не в таком масштабе, как прежде, и нелегально продолжалась до начала XX в.) и приняты другие репрессивные меры (введение ограничения на издание украинских книг, запрещение театральных постановок на украинском языке и исполнения украинских песен в концертах), которые нанесли серьезный удар национальному делу.

немалую роль "Основы") [17. С. 431]. Вместе с тем Пыпин придерживался мнения, что русины не могут считать себя наследниками украинской литературы [17. С. 439].

Выше отмечалось, что в начале 1860-х годов "Современник", "Основа" и некоторые другие журналы выступали в поддержку тех сил, которые стремились к сближению русинского национально-культурного движения с украинским. На рубеже 70–80-х годов Пыпин высказал иное мнение<sup>10</sup>, заключавшееся в том, что русинам нужно ориентироваться на русскую культуру, изучать русскую литературу (которая "тесно связана" с развитием украинской литературы), так как "русская народность... есть ближайшая славянская народность, в которой они могли бы находить опору для своей национальной будущности"<sup>11</sup>. Ученый полагал, что знакомство с русским "национальным сознанием... принесло бы галицкому возрождению несомненную пользу" [17. С. 447]. Именно русскому народу, писал Пыпин, "по всем вероятностям, после новой внутренней работы над своей организацией, еще предстоит своя роль в будущих судьбах славянства" [17. С. 439–440].

В этом же разделе Пыпин уделил внимание и "угорским русинам", отметив, что их национальное движение началось в 1848 г. Ученый считал, что проблемы, которые следует решать закарпатскому населению, аналогичны тем, какие стоят перед жителями Восточной Галиции [17. С. 441].

Обе книги по истории славянских литератур рассматривали национальное и литературное возрождение Украины в одном ряду с вопросами социально-политического и культурного развития других славянских народов. Но так совпало, что "Обзор" появился сразу после того, как активный период украинофильства сменился реакцией на него со стороны правительства и шовинистически настроенной части общества, а "История" вышла в свет вскоре после завершения второго этапа украинского национального движения (чему также способствовали власти). И в том, и в другом случае внимание со стороны Пыпина к украинской теме служило как бы напоминанием о нерешенных национальных проблемах и задачах культурного развития украинского народа.

В начале 80-х годов наметилось некоторое ослабление антиукраинофильской политики [14. С. 33–34]. В 1882 г. начал издаваться (правда, на русском языке) журнал "Киевская старина", публиковавший важные для изучения Украины документальные источники. Но еще очень ощущались последствия репрессивных мер 1876 г. Печать была полна обвинений против украинского национального движения, которое не имело возможности защитить себя. На Украине, писал Пыпин в 1881 г., "опасно было даже обнаруживать особенную любовь к своей местной родине и народности". В такой ситуации остается желать, продолжал он, чтобы "наступила, наконец, возможность открытого и свободного обсуждения в печати" украинского вопроса [18].

Однако нападки продолжались, в том числе со стороны ученых, например М.Ф. Де-Пуле, не признававшего самостоятельности украинского литературного языка<sup>12</sup>. А.Н. Пыпин, не вступая в дискуссию с ним по существу вопроса, ограничился

<sup>10</sup> Вероятно, он не видел достаточно фактов, объективно свидетельствовавших о процессе слияния русинской культуры с украинской, а кроме того, препятствия развитию украинского национального движения в Российской империи не оставляли надежд на то, что оно сможет оказать реальное влияние на этнически родственное население Галиции.

<sup>11</sup> Этот вывод представляется не случайным, поскольку сделан автором в период подъема общественного движения в России, когда у прогрессивных представителей русского общества вновь возникли надежды на социально-политические перемены в государстве.

<sup>12</sup> Де-Пуле, специалист по отечественной истории и истории литературы, вступив в борьбу с "пригнутым прибитым, заклеванным украинофильством" (по выражению Костомарова [9]), писал, что стремление создать "новый малорусский литературный язык есть явление искусственное и положительно вредное, как литературный раскол". Он считал, что украинофилам можно дать свободу "только в слове, а не на деле" и при этом за ними нужен "самый строгий контроль со стороны государства и общества". Все образованные русские, по мнению автора, "не должны позволять выделения малорусского литературного языка из общерусского" [20].

замечанием, что непонятно, как совместить "свободу в слове" для малороссов с "непозволением" иметь свой литературный язык. Точку зрения Де-Пуле Пыпин охарактеризовал как возможную не в науке, а "в полицейском ведомстве" [21].

В 1880-е годы Пыпин очень активно разрабатывал украинскую тему, преимущественно в этнографическом плане, что давало ему широкие возможности обращения к разным сторонам народоведения. В этот период во многих номерах журнала "Вестник Европы" печатались его статьи об украинском национальном возрождении и вновь выходящей литературе, посвященной украинским сюжетам.

Подробный отклик [22] вызвало у него издание ранее не публиковавшихся поэтических и прозаических сочинений Т.Г. Шевченко [23], которое послужило поводом для того, чтобы еще раз напомнить об украинском национальном движении и реакции на него в правительственных кругах и обществе. Пыпин обращал внимание на несправедливое отношение к украинской народности, на трудности развития украинской национальной культуры в условиях "нападений и подозрений", "недоверия и недружелюбия" [22. С. 249–250]. Не лучшим казалось положение в науке, где украинское было представлено "очень скудно"; и "русские большие журналы чуждались... статей о Малороссии" (в этой связи Пыпин напоминал о поддержке украинского движения "Современником") [22. С. 261–262].

В отзыве на издание последних работ Н.И. Костомарова [24] Пыпин особенно подробно рассматривал автобиографию историка, подчеркивая, что по цензурным соображениям в ней пропущены целиком главы об аресте и ссылке ученого (в связи с "делом" Кирилло-Мефодиевского общества), об университетских событиях 1861 г. в Петербурге и характеристики различных людей [25. С. 789, 796–797]. По поводу дискуссионной статьи Костомарова [26], вызвавшей в свое время полемические отклики в печати, Пыпин счел нужным еще раз напомнить, что сам историк отвергал обвинения в сепаратистских замыслах, подчеркивая, что "две русские народности дополняют одна другую и их братское соединение спасительно и необходимо для них обеих" [25. С. 800].

В начале 1890-х годов Пыпин обобщил и подытожил свои разработки по украинской проблематике в фундаментальном исследовании "История русской этнографии", посвятив третий том этого труда специально украинской этнографии [27] (в книгу вошли статьи, опубликованные ранее в "Вестнике Европы" [28]). Автор объяснил свое пристальное внимание к этому вопросу тем, что предмет изучения мало известен "вне круга малорусских специалистов и любителей". Таким образом, Пыпин выводил украиноведческую проблематику из узких рамок региональных исследований, давая ей "прописку" в общероссийской науке. Это была немаловажная поддержка развитию собственно украинской научной мысли. В то же время российской науке это давало ценный материал для сопоставительного изучения восточнославянских народов. Но интерес к украинскому вопросу даже в научном аспекте не мог остаться незамеченным в верхах, поэтому Пыпин предупреждал, что многое в своем исследовании дал намеком по независимым от него причинам. Так, например, он решил, что ввести в книгу вопрос об украинофильстве "было бы трудно в данное время". Вместе с тем автор подчеркнул, что его взгляд на это явление, неоднократно изложенный в его прежних трудах, давно сложился и со временем не изменился [27. С. III–IV].

Круг рассматриваемых проблем и охват материала в книге по сравнению с более ранними работами расширился, появились новые детали. Пыпин вообще часто использовал прием многократного обращения к какой-либо теме, несколько меняя ракурсы ее рассмотрения или добавляя новые данные, позволяющие подтвердить или уточнить прежние позиции.

Книга представляет собой обширный историко-научный труд, в котором автор дает достаточно подробный обзор сочинений за весь XIX в., отражающих не только этнографическую тематику, но охватывающих широкий спектр украиноведческих вопросов, независимо от направления взглядов исследователей. Для разностороннего

и более полного изучения Украины Пыпин считал важным учитывать труды не только русских и украинских, но и польских исследователей, затрагивавших украинскую проблематику, и потому отвел им соответствующее место в своей книге [27. С. 245–300]. Не имея возможности дать подробный анализ этого объемного труда, остановимся на основных его положениях, имеющих принципиальное значение для понимания взглядов Пыпина на украинское национальное движение и украинофильство как идеологическое обоснование этого движения.

В своих рассуждениях Пыпин исходил из того факта, что украинские земли входили в состав Российской империи и перспектива их отделения и создания независимого государства даже не рассматривалась в обществе; не обсуждалась она в открытой печати и украинофилами (хотя в их адрес и выдвигались обвинения в сепаратизме). "Малороссия – не чужая страна, а свой для нас край", – писал Пыпин, полагая, что национальное развитие украинского народа, как и белорусского, а также их научное изучение важны «для "обще-русского" (так у автора. – Е.А.) целого»<sup>13</sup> [27. С. 93] (имея в виду восточнославянскую общность при сохранении национальной индивидуальности каждого народа).

Обращаясь к начальному этапу украинского возрождения, Пыпин отмечал, что пробудившееся в начале XIX в. стремление к глубокому и тщательному исследованию происхождения народа, его истории и культуры "лежало в глубоких основаниях самой внутренней жизни народности". Вместе с тем внимание к своему народу, к "национальному характеру просвещения и литературы", полагал ученый, подогревалось "романтической школой" и "политическим либерализмом", "отголосками славянского возрождения и влияниями немецкой историко-филологической науки". Все эти элементы имели воздействие и на развитие украинской этнографии [27. С. 3].

Интерес ко всему народному, по наблюдению Пыпина, возник в "великорусских" и "малорусских" научных и общественных кругах одновременно. В этнографических разработках "севера" и "юга" много общего, "нередко одни и те же лица трудились в обеих областях, как, например, Срезневский, Бодянский, Максимович, Костомаров" [27. С. 1]. То обстоятельство, что не только украинские, но и русские по происхождению исследователи занимались украиноведением, дало противникам украинофильства неожиданный аргумент для обьявления этого движения "ненормальным", поскольку оно было поддержано "силами чужих деятелей (в которых надо было предположить какое-то заблуждение".) По мнению Пыпина, интерес русских к Украине, наоборот, доказывает "оригинальную силу той местной исторической и этнографической стихии, которая действовала даже на людей, собственно ей чуждых, и увлекала их к изучению этой местной жизни" [27. С. 93].

Развитие украинских этнографических исследований (как и русских) прошло, по мнению Пыпина, несколько стадий: от простого интереса к происхождению и прошлому народа, его быту, обычаям, народным песням, через "сантиментальную и романтическую школы и официальную народность" до связи со славянофильством и западничеством (понимаемом в широком смысле). Романтики 1830-х годов "предчувствовали" важность "самой идеи народа" в сознании общества и в жизни; но изучить свой народ им было еще не по силам (с этим могли справиться зарождавшиеся в то же время "историко-филологические науки"), как не дано им было еще осмыслить важность социального вопроса, решить который "поэзией и чувством" нельзя [27. С. 96].

"Этнографический интерес", писал Пыпин, проявился вначале в литературных произведениях и публицистике, а затем "расширился, с одной стороны, до научного изучения народной старины и современности, с другой – до общественной постановки

---

<sup>13</sup> В одной из статей Пыпин напоминал, что без изучения "южно-русского народа" нельзя "составить себе полной картины русской народной жизни". Необходимость "правдиво изучить все отрасли и оттенки русского народа" должна осознаваться не только русской наукой и просвещением: "государственная польза" требует, чтобы изучению украинского народа было уделено более серьезное внимание [29].

вопроса". Эти тенденции оказывались взаимозависимыми и взаимодополняемыми, но вместе с тем, наряду с положительным эффектом для развития народа, порождали, как подметил Пыпин, и такие отрицательные явления, как "идеализацию малорусской старины", выпячивание национальных особенностей, подчеркивание национальных различий и "даже противоречий" двух близкородственных народов – украинского и русского (вплоть до признания, что они – "особые, независимые отрасли славянского корня") [27. С. 3–4].

Общественное звучание украинской темы выходило за рамки этнографических вопросов, поэтому Пыпин "вплетает" их в контекст исторической судьбы Украины и ее народа, подчеркивая, что история "тесно соединена" с этнографией при изучении любого народа (такую же неразрывную связь с ней, по его мнению, имела и литература). "История малорусская, – писал ученый, – представляет богатый материал местных отличий... с которыми еще не могли сосчитаться ни обще-русские, ни южно-русские историки, и которые до сих пор подают повод к столкновениям, исполненным нетерпимости". Пыпин полагал, что суть "спора" между "южанами" и "северянами" коренится не в позиции, занятой украинатофилами, как было принято считать в то время, а в этнопсихологических причинах и "в историческом предании". Спорными были вопросы этнического происхождения, языка, "исторической принадлежности событий". Пыпин подчеркивал, что разногласия остаются и украинская сторона не добилась еще "признания полноправности". Он искренно желал, чтобы хотя бы в научном плане этот вопрос разрешился и «"спор между южанами и северянами" кончился на спокойной и свободной научной почве» [27. С. 302–303, 307, 338, 381–382].

История юга и севера России, отмечал Пыпин, при всех отличиях, имеет тесные связи с древнейших времен: история киевского периода – колыбель истории всей русской народности<sup>14</sup> (т.е. всех восточных славян); "церковная древность" Киева – святыня всего русского православия; древняя киевская письменность – "исходный пункт всей русской литературы". Вместе с тем Пыпин обращает внимание на то, что при наличии общего для "северян" и "южан" языка, уже "в русских списках старославянских памятников" можно найти некоторые местные особенности [27. С. 308], а также отличия в "характере южно-русского племени сравнительно с северным", которые впоследствии развились под влиянием природных условий, соседних племен, исторических отношений и привели к складыванию "двух, весьма несходных, народных типов", имевших "в глубине веков воспоминание об одном общем корне их племени, веры и истории" [27. С. 382]. Касаясь вопроса о формировании украинской народности, Пыпин, не меняя принципиально своей прежней позиции, слегка скорректировал ее, опираясь на результаты исследований украинских ученых в этой области (хотя с концепцией исконности украинской нации он все же не был согласен). Начало формирования "двух отраслей" одного племени Пыпин относит к XII–XIII в., связывая этот рубеж с началом политического объединения на севере и татарским нашествием, в результате чего история двух народов "разошлась на многие века и политически, и культурно" [27. С. 5].

Украина в силу исторических обстоятельств оказалась в составе Польского государства, и польское влияние, считал Пыпин, было довольно существенным фактором в процессе формирования украинской народности. Украинская знать ополчилась

<sup>14</sup> В "Истории славянских литератур" Пыпин писал: "Уже одно то, что обе отрасли племени приписывают себе Киевскую древность (обе они делают это в сущности справедливо), показывает, что они исторически она к другой ближе, чем кажется теперь по нынешним отличиям народностей..." Ошибка споривших была в том, что "обе стороны переносили на старину *современные* этнографические отношения". Но с другой стороны, «не подлежит сомнению как этнографическая разница древнего "севера" и "юга" (хотя гораздо менее резкая, чем потом), так и то, что историческая деятельность древнего Киева принадлежала южной отрасли» [17. С. 308]. Эти высказывания, на которых явно отразилось влияние концепций историков-украинтофилов, дали повод некоторым украинским деятелям после выхода этнографических работ Пыпина в 1880-х годах обвинить его в отходе от прежних позиций (см. [30]).



и приняла чужую веру, а народная масса в течение нескольких веков "выносила страшный гнет религиозный и социальный, не уступив ни своей вере, ни народности". В продолжении этого времени на Украине "сознавалась давняя связь" с Россией. Отличия малорусской и великорусской народностей к XVII в. были столь существенны, что при их соединении на новом историческом этапе, после долгого раздельного существования, невозможно уже было их слияние в одну народность. Кроме того, это объединение было вызвано не естественными этническими процессами, а политическими условиями. Хотя, по мнению Пыпина, оно явилось "великой победой южнорусского племени над исключительно тяжелыми обстоятельствами", победой, которая принесла благотворные последствия Малороссии и "великую пользу *всему* русскому целому": Русское государство расширилось, усилилось, а украинское население избавилось от "национальной опасности" со стороны Польши; "южнорусская ученость и книга" XVI–XVII вв. внесли немалый вклад в общероссийскую культуру и образование [27. С. 5–6, 284].

Однако встреча этих народов на новом этапе истории, замечал Пыпин, не обошлась без "шероховатостей": "объединительная система" Российского государства, "сопровождаемая неограниченностью царской власти", заставляла Малороссию подчиняться "московским порядкам" [27. С. 283]. Присоединение "к сильноному государству, притом одноплеменному", подчеркивал Пыпин, сглаживало "племенные различия", "местные особенности", черты собственного политического устройства, "малороссийские права" исчезали "при подавляющем господстве администрации, нравов, а затем нового просвещения и литературы" основной, коренной нации. Украинцы шли в русскую службу – военную и гражданскую, "старая войсковая и земельная аристократия стала русским дворянством", в то время как простой народ Украины, "наравне с русским, делался крепостным". При этом Малороссия, как отмечал Пыпин, не оказывала сопротивления ущемлению своих прав и свобод (например, уничтожению Запорожской Сечи и гетманства) [27. С. 8].

И в области культуры происходил тот же процесс "врастания" украинских национальных кадров в общероссийскую среду, "умственные силы вступали в поток русской науки и литературы". Украинские (по рождению) деятели культуры уже получали русское образование и писали на русском языке. Малороссы, которые внесли немалый вклад в развитие культуры всей империи, замечал Пыпин, теперь сами должны были "заимствоваться" от этой "умственной силы". В такой ситуации, объяснял ученый, естественным образом украинская книжность "становилась провинциализмом", а украинский язык "все больше делался языком низшего класса, простонародья". Обозначенная Пыпиным неутешительная для украинской культуры тенденция вела к тому, что "южно-русский племенной элемент" должен был "окончательно слиться с господствующей народностью и затеряться в ней", раствориться, потеряв свои национальные отличия [27. С. 2, 8–9, 313].

При этом Пыпин обращал внимание на то, что процесс ассимиляции в подобных условиях происходил естественно, без особого внимания (или давления) со стороны властей, которые долгое время довольствовались "административным объединением" Украины с Россией и не собирались "гнаться за истреблением местных бытовых отличий, языка, нравов и книжности". В конце XVIII – начале XIX в., "не думали видеть ущерба для достоинства русского народа в признании известной малорусской особенности", которая сохранялась в языке, обычаях, народной поэзии, исторических преданиях. Но с 60-х годов XIX в. в течение нескольких десятилетий в Российской империи, по наблюдениям ученого, осуществлялись задачи "абсолютного обрусения" украинского населения [27. С. 2–3, 8].

Однако денационализации не произошло, так как начался процесс национального возрождения. Ученый вновь и вновь подчеркивал, что украинское национальное возрождение, базирующееся на глубоком интересе к своему народу, шло в русле возрожденческих процессов славянства вообще, имея с ним "многие связи и параллельные явления" (как, например, занятия этнографией, историей своего народа, литературой

на родном языке). Этнографические и исторические исследования показали "богатую оригинальность южнорусской народности", и всестороннее изучение ее стало уже не только делом "местного патриотизма, но глубоким вопросом науки и целого национального самосознания" [27. С. 4, 9].

Деятели национального возрождения, отмечал Пыпин, занимались не только научным изучением "народных сил", но уделяли им и "практическое" внимание, прежде всего стремясь "создать новую литературу для народа". Пыпин считал, что "новейшее возникновение малорусской литературы со времени Котляревского, собственно говоря, было только подновлением и дальнейшим развитием старого книжного предания", той "малорусской стихии не только языка, но и содержания", которая присутствовала "в южной письменности" с XVI до XIX в. [27. С. 6]. В подтверждение своей точки зрения Пыпин ссылаясь на работы Н.И. Петрова [31; 32] и Н.П. Дашкевича [33], научно обосновавших преемственность традиций в украинской литературе [27. С. 7]. Он сохранил свою прежнюю убежденность в том, что оправдать существование новой литературы может лишь ее способность быть "проводником общечеловеческого чувства и идеала". Однако национального колорита для этого недостаточно. На взгляд Пыпина, положение может спасти "сильный талант" (каким был Шевченко), "способный увлечь земляков" не только национальной спецификой, но более широкими проблемами [27. С. 10].

Вместе с тем Пыпин всячески приветствовал развитие украинской национальности, считая, что власти должны поощрять этот процесс для общей пользы, поскольку "развитие местных элементов не только не ослабляет целую народность, но усиливает ее, раскрывая богатства ее внутреннего содержания, давая исход разнообразию ее оттенков, поощряя проявления народной и личной даровитости, расширяя объем литературы, обогащая язык. Относиться враждебно к этим местным элементам значит умалять внутреннее достоинство самой господствующей народности". [27. С. 10]. Критикуя подход официальных кругов к проблеме национального развития народов империи, Пыпин не мог не затронуть и отношения к ней славянофилов. Он не преминул подчеркнуть, что именно национальная исключительность славянофильства "немало способствовала" соответствующей ответной реакции "малорусского патриотизма", который "вызывал крайнее раздражение" у многих публицистов и некоторых ученых (хотя "вовсе не требовал бы этого раздражения") [27. С. 4–5].

Пыпин с сожалением отмечал, что условия общественной жизни не способствовали открытому и правдивому обмену мнениями по поводу украинской истории, в результате чего "рождалось взаимное недоверие и несправедливость" [27. С. 384]. Он считал, что с русской стороны "должна быть спокойная критика" преувеличенной оценки малороссийскими патриотами исторической роли украинского народа, а не "инсинуации, к которым так часто прибегают противники украинофильства" [27. С. 385].

Хотя в начале работы Пыпин оговорился, что не включил в книгу вопрос об украинофильстве, на самом деле он в той или иной связи затрагивал его довольно часто. Так, он коснулся его, говоря о польско-украинских отношениях и таком явлении польского общественного движения начала 1860-х годов, как "хлопомания" (см. [14. С. 30]), которое он оценивал как проявление демократических стремлений части польского общества сблизиться с малорусским народом. В России "хлопомания" была объявлена польской "интригой" с целью вовлечь украинское население в восстание, и эту "интригу", как до, так и после восстания, прочно связывали с украинофильством (сколько ни заявляли украинофилы "о полной противоположности народных и общественных интересов малорусских и польских") [27. С. 273–275]. Цитируя украинофилов, Пыпин подчеркивал, что они не были сепаратистами, не думали об отпадении от России, стремясь в основном к развитию малорусской литературы и изданию книг для народа на родном языке [27. С. 279–280].

В "Истории русской этнографии" специальную главу Пыпин посвятил журналу "Основа". Это дало ему возможность подробнее, чем прежде, осветить деятельность

журнала (объединившего украинских ученых и литераторов) и его вклад в развитие украинского самосознания и национального движения.

Пыпин обращал внимание на то, что в деятельности журнала вовсе не было инкриминированных ему "превратных" литературных и общественных идей. Он считал, что само издание "Основы" являлось логическим продолжением издания сборников произведений народно-поэтического творчества и этнографических исследований и проявлением "тогдашнего общественного настроения". Основавшие журнал члены существовавшего в 1840-х годах Кирило-Мефодиевского общества, по мнению Пыпина, к 60-м годам изменились – стали старше, приобрели знания и опыт, "фантастические мечты" уступили место стремлению к серьезному изучению "малорусской старины и народности", к развитию литературного языка и народного образования. Перед разработчиками украинской идеи стояла задача определить те черты, которые создавали "нравственно-национальную характеристику" украинского народа и "утверждали его народное право". Пыпин подчеркивал, что эти "работы в защиту и объяснение малорусской народности не были какой-нибудь придуманной тенденцией: они являлись сами собой" [27. С. 215–216].

Перечисляя авторов журнала, выделяя основных сотрудников, публиковавших концептуальные статьи или литературные произведения, отвечавшие основным задачам украинофилов, Пыпин не переоценивал общий уровень журнала, объективно характеризуя его деятельность. Он отмечал, что на страницах "Основы" нашли отражение полезные исторические и этнографические сведения, печатались "непритязательные литературные попытки на малорусском языке", но в то же время в ряде материалов были и "преувеличенные представления о малорусской народности" [27. С. 216–217].

Особое внимание ученый обратил на полемику, вызванную статьей Н.И. Костомарова [26], опубликованной в "Основе", в которой автор отстаивал существование отдельной украинской народности и наличие ее отличительных особенностей уже в древности. Это мнение находило поддержку украинофилов и в то время, и позже. Против позиции Костомарова выступили славянофилы и польская историография. Славянофильский "День" ставил, по определению Пыпина, вопрос о древности восточнославянских племен "на почву племенной исключительности", а некоторые польские исследователи прямо относили малороссов к "отрасли" польского народа (что Пыпин назвал "грубым извращением фактов" [27. С. 262]). Ученый отметил, что с украинской стороны основную роль в полемике играли статьи Костомарова [34; 35] и Кулиша [36], в которых авторы, обращаясь к реальной истории, давали отпор и славянофилам, и полякам [27. С. 217–221].

"Основа" в свое время подвергалась нападкам и обвинениям в узком национализме. Пыпин (и сам прежде упрекавший журнал в ограниченности проблематики) по прошествии трех десятилетий пытался объяснить, что "местный патриотизм" журнала – "вовсе не выдуманный, а тот самый, который издавна жил в малорусских людях", являясь порождением исторических и бытовых условий, и "не представлял никакого ущерба для патриотизма общерусского". Пыпин объективно отмечал, что в публикациях "Основы" встречалось завышение роли украинского народа как "фактора общественных отношений", но в подобный "грех" впадали и другие – "некоторая потеря чувства действительности была общей чертой того времени". Определяя позиции журнала, Пыпин подчеркивал, что в идеализации "малорусской стихии" было много "искренней любви к народу и знания", что при других условиях (возможности беспрепятственного развития) могло "принести благотворное действие" [27. С. 221–222].

"Основа" оказала немаловажное влияние на развитие этнографических исследований. Обозначившийся на страницах журнала интерес к этнографии затем проявился в специальных исследованиях 60–70-х годов [27. С. 222, 339–380], среди которых особое внимание Пыпин уделял результатам экспедиции П.П. Чубинского (см. [37]).

У Пыпина не было сомнений, что учрежденный в Киеве в конце 1872 г. Юго-западный отдел Русского географического общества создавался как организация усилившегося в крае после восстания 1863 г. "русского элемента". Тем не менее отдел

стал центром активности украинофилов. За несколько лет существования отделу удалось активизировать научную деятельность, собрать ценные материалы, издать ряд трудов, способствующих более глубокому изучению Украины. Однако обширные планы реализовать не удалось: в 1876 г. отдел был "временно" закрыт (но так и не открыт впоследствии) "по каким-то причинам, до сих пор не выясненным в нашей печати" (об этом см. [14. С. 33]). В то же время были введены и другие запреты (см. выше); многие деятели украинской литературы и науки, напоминая Пыпин, были вынуждены покинуть Киев. Стали "возобновляться старые нападения на украинофильство", которые достигали цели, потому что "противник не имел возможности отвечать" [27. С. 357–361].

Вместе с тем Пыпин отметил распространение в те же годы в украинском обществе явления, однопорядкового с народничеством, характеризующегося "благороднейшим побуждением сблизиться с народом" и послужить ему как практической деятельностью, так и на ниве науки (хотя "нередко с риском остаться непонятыми" и "навлечь подозрения"). Это направление дало, кроме традиционных исследований, ряд работ в области "экономического быта, земской статистики" и др. [27. С. 400].

В ряду вопросов украинского возрождения, а также научных и общественных откликов на него Пыпин, как и прежде, обращал серьезное внимание на национальные проблемы населения Восточной Галиции. Он напоминал, что история Галицкой Руси была тесно связана с историей Польши, и во всех сферах жизни чувствовалось польское влияние; польская культура была населению более знакомой, чем русская (русская литература оставалась там почти неизвестной) [27. С. 231, 234, 244].

Пыпин отмечал, что в начале XIX в. у русин еще весьма слабы были проявления национального самосознания [27. С. 131]. Начавшееся в 1830-х годах возрождение в Галиции он связывал с именами М. Шашкевича, Я. Головацкого, И. Вагилевича, П. Лукашевича. Касаясь "любопытнейшего" явления того времени – "украинской школы" в польской литературе, Пыпин подчеркивал, что "галицко-русские патриоты" находили в этом польском движении "даже опору для своего дела" [27. С. 252].

Ключевым моментом национального движения в Галиции стал вопрос о языке: положить в основу литературного языка народные говоры или искусственную "ломаную церковно-русскую" речь, выбрать непривычный гражданский шрифт или знакомый церковный, принять польскую или русскую азбуку. В Галиции были сторонники всех этих направлений. Но с ростом национального самосознания, особенно в конце 40-х годов, русская азбука стала для галицких патриотов "символом самой русской народности, и борьба за нее была первой защитой национального дела: она олицетворяла собой все племенные различия, всю историческую разницу, всю настоящую противоположность интересов польских и русских" [27. С. 135]. В конце века Пыпин отмечал, что вопрос о языке все еще не решен в Галиции. Сам же он считал язык восточнославянского населения этой провинции украинским [27. С. 136] и всячески подчеркивал этническую общность галичан с малороссами (так, упоминая об издании народных песен, собранных П.А. Лукашевичем [38], Пыпин приводил слова собирателя о близости "народа русской Галиции" к "милой для них Украине") [27. С. 144].

Объясняя причины "столкновений и вражды", существующих в галицком обществе, Пыпин отмечал наличие двух основных группировок. Сторонники одной из них "считают свой народ *южно-русским*" (и в этом автор книги с ними соглашался) и стремятся к развитию литературы "на собственном языке Галицкой Руси в связи с нашей литературой малорусской". Другие считают необходимым "слияние с литературой *обще-русской*, которая однако понимается... только с ее консервативной, обрусительной, славяно-благотворительной стороны". Они выступают против украинского языка, в то же время плохо знают русский язык. Второе направление вызывает сочувствие в определенных кругах русского общества [27. С. 225–226, 228–229].

Однако, исходя из реальной ситуации, Пыпин утверждал, что какого-либо единства на "общерусской" основе "пока нет и далеко еще не предвидится", а просвещение народа возможно только на понятном ему языке; политическая и экономическая

борьба, в которую все больше втягиваются народные массы, защита их интересов также требует обращения к доступному для народа языку [27. С. 230–231]. Таким языком Пыпин считал украинский и одобрительно относился к деятельности молодых галицких патриотов, которые стремились примкнуть к украинскому национальному движению. Не видя целесообразности в отдельном (от большей части "племени", живущего в России), самостоятельном национальном самовыражении, он скептически и иронически относился к мыслям некоторых галицких деятелей о том, что "племя в пятнадцать или даже двадцать миллионов должно иметь свою литературу и будет иметь ее" [27. С. 328]. Он усматривал в присоединении галичан к украинскому движению "единственный логический путь" для тех, кто хочет "служить народному интересу" и остаться связанным со своим народом, не знающим великорусского языка, хотя и сближение с великорусской культурой могло бы дать им поддержку в их развитии<sup>15</sup> [27. С. 233, 327]. При этом Пыпин подчеркивал, что единение галичан с украинской или русской "национальной жизнью" не может совершаться искусственно или насильственно, оно должно быть естественным, "органическим" [27. С. 234]. Нетерпимость к украинофильству в России убеждает галичан в том, что нужно придерживаться "русской ориентации", хотя, полагал Пыпин, между "южно-русским" и "обще-русским" направлениями национального движения в Галиции не должно быть противоречия, поскольку необходимы "тесные связи с общерусской литературой и разработка своего народного языка" [27. С. 328].

Возвращаясь к общеукраинским проблемам, Пыпин приходил к заключению, что к концу XIX в. собралось уже немало работ по украинской истории и этнографии<sup>16</sup>, которые составляют основательную базу для изучения национальной истории и народной культуры; авторы этих трудов, в основном украинские исследователи, одушевлены "любовью к родной местной старине и современной народности". Большинство этих сочинений невелики по объему, но содержат много нового и любопытного материала по разным отраслям науки. Однако, с сожалением замечает Пыпин, они разбросаны в разных изданиях, и очень ощущается недостаток "крупных" работ, что он связывает с положением украиноведения после 1876 г. [27. С. 385]. Единственный украиноведческий журнал, "Киевская старина", Пыпин называет "первостепенным пособием по малорусской этнографии", истории, археологии. О вынужденно избранном журнале направления ученый пишет, что он "стоит вдалеке от полемических вопросов" по поводу малорусской народности и литературы и "довольствуется изучением фактов". Пыпин с сожалением относится к тому, что в Киеве так и не открыты исторический и этнографический музеи, об организации которых речь шла еще в начале 70-х годов [27. С. 389–390].

Таким образом, третий том "Истории русской этнографии" Пыпина является как собственно историко-этнографическим, так и обширным историографическим исследованием, данным в контексте исторических, общественно-политических и культурных явлений и событий жизни украинского народа (он написан на уровне этнографической науки тех лет, когда не было еще устоявшейся терминологии, четких критериев этнической идентификации и т.д.). Опираясь на известные к тому времени научные результаты в области украиноведения, Пыпин затронул не только вопросы разностороннего изучения Украины, но и связанные с ними острые дискуссионные проблемы формирования украинской нации (зачастую имея в виду под литературными и этнографическими "отношениями" политические, социальные, национальные, религиозные и иные отношения).

К вопросам украинского национального возрождения (в самой широкой трактовке

<sup>15</sup> В новых условиях, когда антиукраинская направленность политики властей несколько смягчилась, а само украинофильское движение проявляло большую активность в Галиции, автор книги несколько изменил свою точку зрения по сравнению с высказанной в "Истории славянских литератур" [17. С. 439–440].

<sup>16</sup> Наряду с исследованиями, посвященными Малороссии и Восточной Галиции, в конце книги Пыпин дал краткий обзор работ об Угорской Руси и Буковине [27. С. 416–419].



этого понятия) А.Н. Пыпин обращался на протяжении почти всей своей научной жизни – в 50–90-е годы XIX в. (и в начале 1900-х годов – в воспоминаниях). Большое научное наследие ученого (рецензии, статьи, монографии) позволяет судить как об устойчивости его основных позиций в отношении проблем украинского национального развития, так и об эволюции взглядов на некоторые конкретные вопросы (например, о степени самостоятельности украинской литературы). Пользуясь сравнительным и историческим подходом к анализу национальных движений, Пыпин рассматривал национальный подъем на Украине как явление, аналогичное возрожденческим процессам у южных и западных славян. Вместе с тем Украина воспринималась им как часть единого государственного организма и как составляющая восточнославянского этнокультурного и социально-политического целого, имеющего общие интеграционные свойства при сохранении индивидуальных национальных особенностей входящих в него народов. События общественно-политической жизни России, рост и углубление украинского национального движения, развитие научных исследований в области украиноведения не могли не сказываться на изменении ракурсов рассмотрения некоторых проблем (процесс формирования украинской народности, вопросы национально-культурной ориентации русинов и т.п.). При этом неизменным оставалось отрицательное отношение ученого к концепции "исконности", "древности" украинской нации, языка и литературы. Он не признавал также "патриотизма", проповедующего национальную исключительность, ксенофобию, идеализацию национальных черт и т.д. Защищая украинофильство (которое представлялось ему более однородным, чем было на самом деле) от необоснованных нападок, положительно оценивая вклад этого общественного течения в развитие украинского национального самосознания, Пыпин в то же время недооценивал (или не осознавал) сепаратистских тенденций этого движения. Он неизменно подчеркивал этническую и культурную общность восточнославянского населения Галичины и Малороссии.

Обращение ученого к вопросам происхождения, истории, культуры украинского народа, обозначение роли и места этой проблематики в русской и украинской литературе, науке и общественной мысли, с одной стороны, отражали естественные процессы развития украинского национального самосознания и формирования национальной идеологии, с другой – объективно оказывали поддержку украинскому национальному движению. Это не могло не вызвать положительной реакции в украинофильской историографии, хотя некоторые аспекты его трудов получали неоднозначные оценки. В целом, многолетние исследования А.Н. Пыпина (от небольших заметок до обобщающих трудов) внесли ощутимый вклад в украиноведение и имели значение для осознания русским обществом важности и серьезности украинского (как и любого другого национального) вопроса в многоэтничной империи.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Озерянский А.С.* А.Н. Пыпин и его автобиографические заметки // *Пыпин А.Н. Мои заметки.* Саратов, 1996. С. 12, 40–41.
2. *Пыпин А.Н.* Мои заметки. Саратов, 1996.
3. [*Пыпин А.Н.*] Записки о Южной Руси / Издал П. Кулиш. Том первый. СПб. 1856 // *Современник.* 1857. № 1/2. Отд. IV. (подписано – П.А.Н.).
4. [*Цертелев Н.А.*] Опыт собрания старинных малорусских песней. СПб., 1819.
5. *Максимович М.* Малорусские песни. М., 1827.
6. *Максимович М.* Украинские народные песни. М., 1834. Ч. I. Кн. 1–4.
7. *Метлинский А.* Народные южнорусские песни. Киев, 1854.
8. [*Пыпин А.Н.*] Записки о Южной Руси / Издал П. Кулиш. Два тома. СПб. 1856–1857 // *Современник.* 1857. № 5. Отд. III. (подписано – П-нъ А.Н.).
9. *Грибовский М.А.* О причинах взаимного ожесточения поляков и малороссиян в XVII веке // *Записки о Южной Руси.* СПб., 1857. Т. 2.

10. Кулиш П.А. Замечания издателя // Записки о Южной Руси. СПб., 1857. Т. 2.
11. Могилевский И. О древности и самобытности южнорусского языка // Записки о Южной Руси. СПб., 1857. Т. 2.
12. [Пытин А.Н.] Хата, 1860 г. / Издал П. Кулиш. С.-Петербург // Современник, 1860. № 3. Отд. III. (подписано – П.А.Н.).
13. Пытин А.Н., Спасович В.Д. Обзор истории славянских литератур. СПб., 1865.
14. Миллер А.И. Украинофильство // Славяноведение. 1998. № 5.
15. Костомаров Н.И. О федеративном начале в древней Руси // Основа. 1861. № 1.
16. [Чернышевский Н.Г.] Национальная бестактность // Современник. 1861. № 7. Отд. II.
17. Пытин А.Н., Спасович В.Д. История славянских литератур. СПб., 1879–1881. Т. 1–2 (ссылки в тексте даны только на т. 1).
18. Пытин А.Н. Малорусско-галицкие отношения // Вестник Европы. 1881. № 1. С. 410.
19. Костомаров Н.И. По поводу статьи г. де-Пуле // Вестник Европы. 1882. № 5. С. 434.
20. Де-Пуле М.Ф. К вопросу об украинофильстве // Русский вестник. 1882. № 2. С. 855, 866.
21. Пытин А.Н. К спорам об украинофильстве // Вестник Европы. 1882. № 5.
22. Пытин А.Н. Русские сочинения Шевченка // Вестник Европы. 1888. № 3.
23. Поэмы, повести и рассказы Т.Г. Шевченка, писанные на русском языке. Киев, 1888.
24. Костомаров Н.И. Литературное наследие. СПб., 1890.
25. Пытин А.Н. Последние труды Н.И. Костомарова // Вестник Европы. 1890. № 12.
26. Костомаров Н.И. Две русские народности // Основа. 1861. № 3.
27. Пытин А.Н. История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 3: Этнография малорусская.
28. Вестник Европы. 1881. № 1; 1885. № 8–12; 1886. № 1–4; 1887. № 1.
29. Пытин А.Н. Малорусская этнография за последние двадцать пять лет // Вестник Европы. 1886. № 1. С. 344.
30. Полецук Т. Проблема культурно-історичної спадщини Київської Русі в українсько-російській дискусії 1890–1891 рр. // Славістичні студії. Львів, 1997. Т. 1. С. 179–180.
31. Петров Н.И. Очерки истории украинской литературы XVIII в. Киев, 1880.
32. Петров Н.И. Очерки истории украинской литературы XIX столетия. Киев, 1884.
33. Дашкевич Н.П. Отзыв о сочинении г. Петрова: Очерки истории украинской литературы XIX столетия // Отчет о XXIX-м присуждении наград гр. Уварова. [СПб.], 1888.
34. Костомаров Н.И. Правда москвичам о Руси // Основа. 1861. № 10.
35. Костомаров Н.И. Правда полякам о Руси // Основа. 1861. № 10.
36. Кулиш П.А. Полякам об украинцах // Основа. 1862. № 2.
37. [Чубинский П.П.] Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, снаряженной Имп. Русским Географическим Обществом (юго-западный отдел: материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским). СПб., 1872–1878. Т. 1–7.
38. [Лукашевич П.А.] Малороссийские и Червонорусские народные думы и песни. СПб., 1836.



© 1999 г. Ю.А. ЛАБЫНЦЕВ, Л.Л. ШАВИНСКАЯ

## МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ ЕВРОПЫ: КУЛЬТУРА НАРОДОВ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

*Вот и граница Литовская...*

А.С. Пушкин "Борис Годунов"

История и культура Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского, одного из крупнейших государств средневековой Европы, населенного преимущественно восточными славянами, остаются малоизученными. Особенно заметно это стало в наши дни на фоне событий, связанных с распадом СССР и образованием новых независимых государств, прежде всего Белоруссии, Литвы, Украины. Сложившееся в XIII в. Великое княжество Литовское просуществовало вплоть до конца XVIII в., войдя в 1569 г. вместе с Польшей в новое государственное образование – Речь Посполитую Обоих Народов, в котором княжество, сохраняя свой суверенитет, обладало многими атрибутами политической, правовой, военной и экономической самостоятельности. Имело оно и свой государственный язык – старобелорусский...<sup>1</sup>

Достаточно посмотреть на историко-политическую карту Великого княжества, чтобы понять неизбежность и масштабы влияния этой огромной некогда державы на судьбы многих народов как внутри ее, так и вовне. На века она оказалась и в центре действия и взаимодействия народов славянского мира, причем не только восточного, но и западного. Другие важнейшие векторы разнородного спектра контактов Великого княжества Литовского – немецкие ордена, германский мир; народы Дикого Поля, Золотая Орда, Великая Орда, Крымское ханство, Молдавия.

Великое княжество Литовское было полиэтничным и поликонфессиональным государством, по сути гигантским культурным и географическим порубежьем, соединявшим Запад и Восток Европы, где то или иное культурное начало стремилось играть или играло свою особую роль в общей гамме их проявлений, то в чем-то доминируя, то склоняясь к некоему вынужденному системному компромиссу, то

Лабынцев Юрий Андреевич – д-р филол. наук, директор Центра белорусоведческих исследований Института славяноведения РАН.

Шавинская Лариса Леонидовна – канд. филол. наук, ученый секретарь Центра белорусоведческих исследований Института славяноведения РАН.

<sup>1</sup> В Статуте Великого княжества Литовского 1588 г. было записано: "А писар земский маеть по руску литерами и словы рускими вси листы, выписы и позы писати, а не иншим зыком и словы" (Раздел 4, артикул 1). Это положение было уже в Статуте 1566 г. Оно целиком сохраняло юридическую силу вплоть до конца XVII в.

исповедуя в определенной степени толерантную устремленность. Контекст духовной жизни того или иного народа в рамках этого государства был всегда необычайно сложен и изменчив, система корреляционных связей чрезвычайно развитой. Особым образом это относится к литовскому этносу, рано соприкоснувшись с восточнославянскими соседями, долгое время остававшемуся в массе своей языческим в условиях сильнейшего восточнохристианского, а затем и западнохристианского влияния. Литовцы, став своеобразным стержнем государства, оказались перед судьбоносным выбором, повлиявшим как на их собственную историю, так и будущее соседних народов, в первую очередь славянских.

Многим из этих вопросов применительно к XVI в., периоду наивысшего расцвета Великого княжества Литовского, была посвящена Международная научная конференция "Литовский просветитель Мартинас Мажвидас и книжная культура Великого княжества Литовского его времени" (Москва, 18–19 ноября 1998 г.), организованная Посольством Литовской Республики в Российской Федерации и Институтом славяноведения РАН при участии ведущих специалистов из Литвы, России, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Италии, Польши, с Украины. Она была приурочена к знаменательному событию в истории литовского народа – 450-летию издания М. Мажвидасом "Катехизиса" (Кёнигсберг, 1547), первой печатной книги на литовском языке.

Конференция, проходившей в "Доме Балтрушайтиса" (ул. Поварская, 24), предшествовало открытие выставки "Старая книга Литвы", устроенной благодаря усилиям руководства и сотрудников Библиотеки Вильнюсского университета и самого университета, выпустивших ее великолепно исполненный и изданный каталог в версиях на основных европейских языках и литовском. Выставка эта, насчитывающая множество раритетов, ранее демонстрировалась в Тарту, Париже и Берлине, а работа ее главного организатора, А. Бразюнене, получила высочайшую международную оценку.

Конференцию открыл председатель ее Организационного комитета, в состав которого вошли и три сотрудника Института славяноведения РАН, министр просвещения и науки Литовской Республики К. Платялис. Пленарное заседание началось выступлением председателя Государственной комиссии по празднованию 450-летия первой литовской книги, председателя Сейма Литовской Республики профессора В. Ландсбергиса, рассказавшего о значении деятельности М. Мажвидаса для развития литовской культуры. Следующим был доклад академика В.Н. Топорова (Москва) "Мажвидас в контексте – большой и малый", в котором ученый, основываясь на своих многолетних исследованиях, представил образ М. Мажвидаса. Заключительный доклад "Первой литовской книге 450 лет" на пленарном заседании сделал секретарь Государственной комиссии по празднованию 450-летия первой литовской книги Д. Каунас, подробно остановившийся на роли этого события для последующей истории книжного дела Литвы.

Дальнейшая работа конференции проходила поочередно в трех секциях: "Жизнь и деятельность Мартинаса Мажвидаса и его сподвижников" (руководители Ю. Будрайтис и Ю. Лабынцев), "Книжная культура Великого княжества Литовского эпохи Ренессанса" (руководители Д. Каунас, М. Кондратюк, А. Непокупный, Л. Шавинская, В. Конан, А. Липатов), "Литуанистика и литуанистические собрания в современном мире" (руководители З. Зинкявичюс и А. Золтан).

Академик З. Зинкявичюс (Вильнюс) сообщил о своих наблюдениях по поводу существования древнейших, домажвидасовских литовоязычных текстов ("Древнейшие литовские тексты до Мартинаса Мажвидаса"). Член-корреспондент А.П. Непокупный (Киев) посвятил свое выступление некоторым моментам балто-славянских языковых контактов ("Как М. Мажвидас называет свой "Катехизис"? (Литовский термин и его соответствия в балтийской, славянской и германской культуре XVI–XVII вв.)"). Литературовед Д. Поцюте-Абукавичене (Вильнюс) сделала попытку представить М. Мажвидаса как "умеренного реформатора", "волею обстоятельств" принесшего "в

литовскую культуру фундаментальную конкретность" ("Мартинас Мажвидас и начало Нового времени в Литве"). Проблеме соотношения универсального и национального в контексте общей духовной жизни Великого княжества Литовского был посвящен доклад А.В. Липатова (Москва), который считает, что "восточнославянский аспект Литвы (связанный как с ее народонаселением, так и самой родословной литовских правителей) обогащается аспектом западнославянским – польским, который особенно с XV в. также становится внутрিলитовским фактором собственно национальной истории и собственно национальной культуры" ("Культурное пространство Великого княжества Литовского: взаимодействие латинского Запада и византийского Востока (Универсальное и национальное в эпоху Возрождения)". Доклад философа и культуролога В.М. Конона (Минск) был посвящен вопросам типологии белорусской ренессансной литературы. Он выделяет два этапа ее развития: "ранний Ренессанс" и "поздний Ренессанс" ("Беларуская літаратура эпохі Рэнесансу: гісторыка-тыпалагічны аналіз"). Лингвист А. Золтан (Будапешт) представил результаты своего анализа "первого в старобелорусской литературе" (около 1580 г.) "переводного сочинения на венгерскую тему" ("Венгерский вклад в книжную культуру Великого княжества Литовского эпохи Ренессанса: Athila M. Олаха в польском и старобелорусском переводе"). Доклад А.Н. Нарбута (Москва) был тесно связан с генеалогическими исследованиями ученого ("Магнаты и книгопечатание в Великом княжестве Литовском в XVI в."), в нем сделан вывод о том, что "на фоне усиливавшейся полонизации знати... не наблюдалось противоборства между славянским (белорусским и украинским) и литовским книгопечатанием". Сложнейшим вопросом национального самосознания было посвящено выступление Д. Куолиса (Вильнюс), попытавшегося "пунктирно обозначить преобладавшие тогда" его черты ("Понятия литовца и Литвы в литовской письменности XVI–XVII вв."). Музыковед и культуролог Ю. Трилупайтене (Вильнюс) в докладе "Влияние реформационного движения на музыкальную культуру Великого княжества Литовского" сделала, в частности, очень важный вывод о том, что культура эта "периода реформации в большей мере отражала черты Северного ренессанса". Л.Л. Щавинская (Москва) представила результаты детального клиометрического анализа литературного пространства "одного из важнейших регионов многовекового культурного взаимодействия" народов Европы ("Квантитативная характеристика литературного ландшафта западной пограничной части Великого княжества Литовского середины XVI в.: По материалам книжных собраний Супрасльского Благовещенского монастыря"). В докладе Ю.А. Лабынцева (Москва) затрагивались вопросы изучения масштабной источниковой базы реформационного движения в среде восточных славян Великого княжества Литовского («Белорусоязычное "протестантское" "Евангелие" в составе православного полемического сборника супрасльского архимандрита Иевстафия»). П.У. Дини (Пиза) дал характеристику европейской лингвистической дискуссии о литовском языке домажвидовской поры ("Ikima vydyne Lietuvos (LDK) lingvistika"). Лингвист М. Кондратюк (Варшава) проанализировал состояние и перспективы изучения балтизмов в ономастике пограничья Польши и Великого княжества Литовского ("Bałtyzmy w onomastyce na zachodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywę badawcze"). Совместный доклад А.Навицкене (Вильнюс) и Д. Змрочек (Лондон) касался истории и состояния одного из интереснейших собраний старинных книг Литвы – в Британской Библиотеке в Лондоне ("The collection of old Lithuanian books at the British Library: Highlights from the Lithuanian-language collection and the collection of imprints from the Grand Duchy of Lithuania"). Историк Д.В. Карев (Гродно) посвятил свой доклад проблемам отображения в письменности мажвидовского века этнических воззрений народов Великого княжества Литовского ("Историческое сознание народов Великого княжества Литовского и белорусско-литовская историография в XVI в."). Лингвист М. Гасюк (Познань) подробно рассказал о литовских говорах в северо-восточной части Польши ("Фонетические процессы в литовских говорах окрестностей Сэйн").

Общие итоги конференции подвели советник по культуре Посольства Литвы в



России Ю. Будрайтис, академик З. Зинкявичюс и министр просвещения и науки Литвы К. Платялис.

Необходимо отметить, что конференция вызвала живейший интерес не только в среде ученых, но и журналистов, а также работников дипломатического корпуса, присутствовавших на ней. В печати появилось около десятка статей, специально ей посвященных. Московская встреча литуанистов и славистов, сконцентрировавшая внимание преимущественно на литовско-славянских культурных контактах эпохи Ренессанса, явилась и одним из заключительных мероприятий главного национального культурного проекта Литовской Республики последних лет – празднования "года Мажвидаса". Вместе с тем конференция стала, пожалуй, первым международным научным форумом 1990-х годов, на котором доклады делались на всех основных языках народов бывшего Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского, как это и задумывалось организаторами форума. На этих же языках материалы конференции будут опубликованы отдельным изданием.

\* \* \*

Предлагаем вниманию читателей несколько статей, специально подготовленных для журнала "Славяноведение" на основе текстов докладов, прозвучавших на конференции. Публикуемая статья В.Н. Топорова представляет собой авторское извлечение из обширного монографического исследования о М. Мажвидасе, полный текст которого под тем же заглавием печатается в сборнике материалов конференции. Статья Ю.А. Лабынцева является расширенным вариантом одного из вступительных тезисов автора к его докладу на конференции.



Великое княжество Литовское в XIII – середине XV в.



© 1999 г. В.Н. ТОПОРОВ

## МАРТИНАС МАЖВИДАС В КОНТЕКСТЕ ЕГО ВРЕМЕНИ

(К 450-летию со дня выхода в свет первой литовской книги)

Братя, сестры, возьмите меня и читайте  
 И, читая это, уразумевайте.  
 Родители ваши жаждали иметь эту науку,  
 Но никоим образом не могли получить ее.  
 Видеть ее хотели собственными глазами,  
 А также и услышать собственными ушами.  
 Теперь же, чего ваши родители никогда не видели,  
 Теперь это все к вам пришло...

– с такой речью обращается к литовцам и жемайтам "сама книжица". Счастлив должен быть тот народ, которого так встречает первая книга на его родном языке, книга, справедливо считающаяся началом литовской письменности и литературы. Это начало было блистательным – умным и трезвым, исполненным заботы о людях, еще не окормленных книжным словом, и доверительным, благородным и дышащим подлинно христианской любовью. Звук и смысл этих первых слов приглашения к знакомству, свет, исходящий от них, определили лучшее из того, что потом было в литовской духовной культуре последующих пяти веков, как она обнаружила себя в письменности. Поэтому память об этом "книжном" подвиге Мажвидаса будет жива, пока живо литовское слово – устное и письменное.

Само явление Мажвидаса было огромным прорывом в истории становления и развития литовской духовной культуры. Этот прорыв созрел давно и ожидал зова времени и стечения благоприятных обстоятельств. Не будь Мажвидаса, этот прорыв был бы осуществлен кем-то другим и в том же XVI в. Но совершил его именно Мажвидас, воспользовавшись открывшейся ему возможностью, и сделал это так успешно, как едва ли это удалось бы кому-либо из других известных деятелей культуры того века. И появление в 1547 г. первой печатной книги на литовском языке было действительным началом литовско-язычной письменности, открытием принципиально нового этапа в развитии литовской культуры, имевшей до того другие, более ограниченные формы своего существования.

Какова была историческая панорама Литвы XVI в.? Многое в ней определялось тем, что сложилось в два предыдущих века. Позднее (1387) принятие христианства в Литве (произошло оно лет на 60 раньше, трудно было бы сказать, кто добьется успеха за первенство в Восточной Европе – Литва или Московское княжество) в исторической перспективе, пожалуй, нужно рассматривать как упущение важного шанса и в этой борьбе с Москвой, и в отношениях с Польшей. Начиная с Кревской унии Литвы и Польши, судьба Литвы прочно связывалась с Польшей, и даже за блестящей эпохой

Витовта, когда могущество Великого княжества Литовского, по меньшей мере в два раза превышавшего территорию Московского княжества, было неоспоримо, уже можно было предчувствовать, что скоро восходящая линия развития остановится, а потом и начнет свой спуск. Действительно, вскоре после смерти Витовта внутренние осложнения в Литве начали ослаблять ее, и параллельно этому ослаблению усиливалось польское влияние в Литве и росла зависимость Великого княжества Литовского от Королевства Польского, от "Короны". Бремя унии ощущалось в Литве все чувствительнее, но, учитывая складывавшуюся обстановку, особенно на Востоке, Литва была обречена на тесное сотрудничество, и, значит, на возрастание зависимости и уступки Польше и в географическом, и в культурном пространствах. Но даже и это не было основной опасностью, грозившей Литве. Со второй половины XV в. главной угрозой стала восточная, исходящая от Московской Руси. Падение в 1478 г. Новгорода Великого, уход с Руси татар в 1480 г. знаменовали окончательное объединение Северо-Восточной Руси, не исчерпавшее, однако, стремления к расширению в разные стороны и прежде всего в западном направлении. <...>

Сложности, неудачи и бедствия, выпавшие в XVI в. на долю Литвы, не могли не отразиться на общем ее положении, тем более на таком тонком улавливателе и выразителе духа времени, каким является культура, в данном случае именно литовскоязычная. Условия, складывавшиеся в Великом княжестве Литовском, едва ли можно назвать благоприятными для того дела, которое предстояло совершить и которое, как известно, совершил Мажвидас. Иной была ситуация в Пруссии, бывшей владением Ордена крестоносцев, с 1466 г. вассалом Польши. Восточная часть этой старой балтийской земли была населена в основном литовцами, уже раньше вошедшими в контакт с немецкой культурой и испытывшими ее влияние и влияние общеевропейских идей, усвоенных немецкой культурой. Кенигсбергский университет в это время был уже одним из важных центров европейского просвещения. Магистр Ордена Альбрехт был сам энтузиастом просвещения, покровителем и поощрителем тех, кто работал или был способен работать на этой ниве, человеком, многое сделавшим для культуры балтийских народов. Альбрехт покровительствовал и Мажвидасу, с которым был в переписке, и высоко ценил его. <...>

Но были и более общие и влиятельные обстоятельства, способствовавшие становлению литовской письменной культуры. Речь идет о том мощном движении, которое началось в Северной Европе в первой половине XVI в. и известно как Реформация. Это движение было одним из продолжений Возрождения и идей гуманизма в религиозной среде. В этом контексте родной язык попадал в сферу внимания и интереса – и как осуществление права на доступ к общекультурным ценностям независимо от этнической и языковой принадлежности, и чисто практически: утверждение протестантизма требовало перевода канонических текстов и создания новых религиозных текстов на родном языке. Нужно отдать должное Альбрехту: он хорошо понимал стоящую на повестке дня задачу и многим способствовал ее решению, а в более широком плане – созданию основы для формирования нового типа литовской культуры и литовскоязычной письменности в Восточной Пруссии, повлиявшей в определенной мере и на литовскую культуру, и на появление первых письменных текстов и в Великом княжестве Литовском. <...>

Исторический опыт Великого княжества Литовского исключительно ценен, но едва ли все-таки оценен по достоинству. И ценность этого опыта, а в известных отношениях и временных пределах (конец XIV–XV в.) и уникальность его, состояла именно в сосуществовании, распределении и гибком равновесии разных культур – литовской, западнорусской, польской, латиноязычной, немецкой, не говоря о культурах анклавов "малых" народностей. В определенном смысле можно говорить о том, что на этом историческом опыте государственного, культурного, межэтнического и религиозного строительства лежала печать "вселенскости", той широты, терпимости и взаимоприемлемости, которые предполагают большие потенциалы, использованные – уввы! – лишь в небольшой части.

Едва ли можно сомневаться в том, что более всего из этой ситуации извлекла литовская культура несмотря на одно крайне неблагоприятное обстоятельство – между принятием христианства и появлением первой печатной книги на литовском языке прошло 160 (!) лет. Но это "несмотря" отсылает и к "благодаря": все эти полтора века литовская культура не дремала, но развивалась в чужезычных формах – латиноязычной, польской, западнорусской. Это умение работать на "чужих" языковых пространствах, эта воля к просвещению, эта энергия неопфита, усердие, трудолюбие, трезвость и точность расчета – характерные черты литовского национального гения, в той или иной мере проявившиеся и в нашем столетии.

Ко времени появления первой литовской печатной книги многое уже было сделано и подготовлено литовской культурой. (...) Но до выхода в свет "Катехизиса" Мажвидаса письменная, "текстовая" культура развивалась в Литве на "чужих" языках (если не считать редчайших исключений), и это развитие было успешным, во всяком случае – полезным, поскольку в значительной своей части отвечало назревавшему необходимости. (...)

Теперь – к самому Мажвидасу, к человеку, который сам себя называл *Martynas Mažvydas Vaitkunas*, к его жизненному пути.

Мажвидас был родом не из Восточной Пруссии, но, несомненно, из Великого княжества Литовского, и в Пруссию его пригласил Альбрехт. Пожалуй, наиболее сильным аргументом нужно считать язык мажвидовских текстов: на основании анализа диалектных черт в языке Мажвидаса З. Зинкявичюс пришел к выводу, что родной говор его локализовался в пространстве диалекта южных жемайтов.

Первые четверть века жизнь Мажвидаса – в тумане. Точно не известен даже год его рождения, хотя склоняются к тому, что он родился около 1520 г. Строго говоря, неизвестно и социальное происхождение его, хотя все-таки считают, что скорее всего он не принадлежал к дворянскому роду и был горожанином. Точные сведения о жизни Мажвидаса начинаются с 1546 г., хотя вероятно его пребывание в 1539–1542 гг. в Вильнюсе, где он преподавал в школе, руководимой А. Кульвиетисом. Луч света упал на жизнь Мажвидаса в 1546 г., когда он получил письмо от Кенигсберга от герцога Альбрехта с просьбой ("с удовольствием просим...") приехать к нему, что, пожалуй, свидетельствует и об их более раннем знакомстве и во всяком случае о том, что Альбрехт знал о Мажвидасе и ценил его, видя в нем своего будущего сотрудника на ниве просвещения. С тех пор Мажвидас, как бы попав в световой круг, стал известен более чем кто-либо другой из деятелей литовской культуры того времени. Вероятно, он приглашался Альбрехтом в Кенигсберг, чтобы учиться. Нет сомнений, что и Альбрехт с его приглашением, и сам Кенигсбергский университет существенным образом предопределили дальнейший путь Мажвидаса.

Откликнувшись на приглашение, Мажвидас прибывает в Кенигсберг, и 1 августа 1546 г. поступает в университет как стипендиат Альбрехта. Уже на следующий год по прибытии в Кенигсберг, еще будучи студентом, Мажвидас издает свой знаменитый "Катехизис". Университет он закончил 5 апреля 1548 г. со степенью бакалавра. Это было первое в этом университете возведение (*promotio*) в ученое звание. В начале 1549 г. Мажвидас обращается к герцогу Альбрехту с просьбой направить его с обязанностями настоятеля храма в одну из вакантных парафий – Лабгувы или Рагайне – и получает назначение в Рагайне.

Рагайне, куда прибыл в 1549 г. Мажвидас, представлял собой тогда небольшой город на высоком берегу Немана, несколькими верстами южнее Тильзита. Некогда он был передовым, выдвинутым на восток опорным пунктом Ордена, откуда организовывались немецкие вторжения в занеманскую Литву. Еще в 1355 г. крестоносцы построили новую каменную стену. На своем веку Рагнит-Рагайне видел и пруссов, и немцев, и литовцев, и шведов, и поляков, и русских. (...) 18 марта 1549 г. Мажвидас стал настоятелем храма в Рагайне и начал вести службу на литовском языке. Он был последовательным сторонником лютеранства, заботливым пастором, просветителем, заботившимся, в частности, об обучении детей. (...) Через пять лет после приезда в

Рагайне Мажвидас стал архидиаконом (наместником) всей территории, центром которой был Рагайне. Но и это повышение, конечно, не снимало с Мажвидаса забот о прихожанах, о церкви, о близких, и едва ли все это оставляло ему свободное время. И все-таки Мажвидас выкраивал время для литературных занятий, которые, видимо, ему были и интересны и дороги.

Перед самой смертью (а умер он в 1563 г., видимо, немногим более сорока лет) Мажвидас успел подготовить наиболее крупную свою книгу – песенник "Gesmes ChrikSczopniSkas", который, однако, не успел напечатать: он был издан в Кенигсберге в 1566–1570 гг. Этот посмертно появившийся труд Мажвидаса представляется очень важным и, к сожалению, кажется, все еще по достоинству не оцененным. В данном случае существенно не только то, что великая протестантская религиозная поэзия Северной Европы благодаря Мажвидасу (в первую очередь) распространилась еще далее на восток, и даже, может быть, не то, что это был, по сути дела, первый и обширный опыт прививки западноевропейских поэтических форм к литовской поэтической традиции, начало которой было положено переводами духовных песен, находящихся в "Катехизисе" 1547 г., но и то, что, несомненно, Мажвидас лю б и л и духовные песни, самоё работу над ними.

Но, конечно, главным трудом всей жизни Мажвидаса был знаменитый "Катехизис" 1547 г. – и потому что он был первой книгой, изданной на литовском языке, и потому что он был наиболее важным и актуальным текстом, преследовавшим основную цель того времени, и потому, что он был наиболее синтетическим трудом, не исчерпывавшимся собственно "катехитическими" задачами (и только по объему он уступал соборным духовным песен, составленному и переведенному – кроме нескольких известных исключений – Мажвидасом).

"Катехизис" 1547 г. открыл историю литовской книги, и открыл ее блистательно. Это вхождение в пространство письменности и книжности в форме именно книги, целостной и завершенной, продуманной до конца и во многом несущей печать оригинальности, не исчерпывающейся обращением к "новому" для христианского учения языку, конечно, не было случайным успехом. И по самой книге, и по некоторым известным фактам, и, наконец, по правдоподобным догадкам можно предположить, что у нее еще до появления и, следовательно, начала истории книги была п р е д - и с т о р и я, что сам воздух 40-х годов XVI в. был чреват идеей подобной книги – и в Кенигсберге, и в Вильноусе. Книга была выпущена в свет, когда Мажвидас еще учился. Прибыв в Кенигсберг и получив средства от герцога Альбрехта, поручившего ему выполнение этой задачи, Мажвидас принялся за работу. Она была, несомненно, нелегкой и требовала определенного высокого уровня от автора-составителя и знания того, что делалось в этом же ареале в "катехитическом" жанре. Несмотря на вероисповедные различия Восточной Пруссии и Литвы в это время, Мажвидас, работая над "Катехизисом", имел в виду литовцев обеих этих стран и их общие желания, потребности, заботы. Под "Катехизисом" он подразумевал не только узкое назначение сочинения такого жанра, но и изложение основных положений и уроков христианской нравственности, и краткое руководство для овладения грамотой, и удовлетворение эстетических потребностей и эмоций паствы (христианская поэзия). Мажвидас, спрятавшись за свою книгу, на "поверхностном" уровне анонимную, обращался ко всем – и литовцам и жемайтам, и хозяевам и работникам, и взрослым и детям, и мужчинам и женщинам ("братьям и сестрам"), строя тем самым единую общенародную (поверх государственных и социальных различий) культуру. И сам состав частей "Катехизиса", и их содержание подтверждают эту универсальную направленность текста на весь состав тогдашнего литовского общества. (...)

Имя Мажвидаса отсутствует на титульном листе, и явным образом оно не появляется ни в каком другом месте книги. Долгое время об авторстве Мажвидаса знали из латинского предисловия к вилентовскому переводу "Евангелий и эпистол" (1579). (...)  
Через три с половиной века это было подтверждено акростихом, занимающим 3–19 строчки стихотворного текста, в котором содержится речь самой "книжицы", обра-



щенная к жемайтам и литовцам. Неотъемлемое первенство в авторстве "Катехизиса" как первой изданной на литовском языке книги вне всяких сомнений, и этого одного было бы достаточно, чтобы говорить и о ее великом значении в истории литовской письменности и культуры в самом широком смысле этого слова. Однако эта книга может оцениваться и иначе, сугубо внутренне, с точки зрения ее состава, ее содержания, ее литературных, в частности, и поэтических достоинств. (...)

Обратившись от своего имени к Литве и к пастырям и служителям Церкви, автор после этого как бы уходит в тень и предоставляет слово персонифицированному образу своей "книжицы", обращенное уже ко всему телу живой Литвы – к литовцам и жемайтам, к ее и а р о д у. И это обращение к народу – как бы через голову пастырей, с глазу на глаз, с просьбой принять книгу, прочитать и уразуметь ее, сделать своей. Эта просьба одушевленной книги к еще не одухотворенному вполне светом христианской истины народу поразительна по своей неожиданности, трогательности до слез, и она – знак высочайшего доверия "ученой" и "письменной" книги и стоящего за нею автора к пока еще "неученому" и "бесписьменному" неграмотному на своем родном языке народу, которому только предстоит выполнить просьбы "книжицы", с которых она и начинается.

"Книжица" представляет собой первый литовский напечатанный с т и х о т в о р - н ы й текст довольно большого объема (112 стихов, каждый из которых обычно насчитывает 12–14 слогов, но есть стихи и по 9–10 и по 15–16 слогов).

Главный смысловой роиnte – название книги, образующее первое слово заглавия (*Knigieles*) и укрытое во всех случаях, когда употребляется личное местоимение 1-го лица (в именительном и косвенном падежах) или притяжательное местоимение *mana* в завершающем стихе текста. Но именно потому, что перед нами речь "книжицы", соответствующее слово в тексте не употребляется кроме как в заглавии, принадлежащем не "книжице", а Мажвидасу, в свою очередь укрывшемуся за ней. Тем не менее образ книги витает над всем текстом: текст не только порождение "книжицы" и сама "книжица" – он еще и о важности ее и необходимости ее для тех, кто хочет полно и подлинно приобщиться к миру христианских ценностей, к образу Иисуса Христа. На невидимую "книжицу" (на уровне лексем) указывает, однако, многое – все то, что связано с контактом с нею и ее максимально полезным использованием людьми. Первая глагольная форма в первом же стихе, непосредственно после обращения к братьям и сестрам, образует призыв "книжицы" в з я т ь е е – *BRalei seseris, / imkiet (mani)* – и затем – п р о ч и т а т ь и, прочитав, п о н я т ь – у р а з у м е т ь е е. По сути дела это же слово, этот призыв и заключает "книжицу" – *prymkiet* 'примите'! Начало и конец твердят об одном и том же, самом главном для "книжицы", для Мажвидаса, для дела притяния и распространения христианства – о принятии книги. Но и внутри этой рамки еще трижды говорится об этом же – (11) "Благосклонно и радостно это слово примите"; (54) "Эту науку (христианства. – *B.T.*) все радостно примите" и (107) "Поэтому эту краткую науку в руки возьмите".

Главная ценность "книжицы", определяющая ее значение, – в содержащейся в ней христианской н а у к е-у ч е н и и, которую отныне можно не только слышать (примущественно в храме), но и ч и т а т ь, т.е. в любой подходящей момент брать ее в руки и видеть своими глазами, и понимать ее смысл, иначе говоря, читая, у р а з у - м е в а т ь. Эти два глагола – чтения и понимания-уразумения – образуют "сильное" продолжение акта принятия и притяния "книжицы", и соответствующие слова, обозначающие эти действия, являются в тексте безусловно отмеченными. Объект всех этих действий – принятия, чтения, уразумевания – один, но выступающий в двух ипостасях, отношение которых построено и не на принципе "или – или", и не на принципе равноправия. Если все-таки искать объяснение взаимоотношения этих ипостасей, то оно может быть определено как "содержащее" и "содержимое" (объем, рамка и их заполнение), а если брать более интенсивный аспект, – то "материальное", вещное и духовное, идейное. Говоря конкретнее, речь идет о соотношении двух объектов при каждом из трех названных предикатов – "книжицы" и "науки-учения", содержащейся в

"книжице", несомой ею. "Книжица" разумеется в том единственном случае, когда при глаголе *imti* стоит объект *mani* "меня" – *imkiet mani* (1) в партии "книжицы", т.е. самое "книжицу". В остальных случаях прежде всего, даже при глаголе (*pri*-)*imti* имеется в виду "наука-учение", христианская доктрина или непосредственно или опосредованно, ср.: *tą sz a d i prigimkiet* "это слово примите". Такое первенство именно "духовного" объекта подтверждается многочисленными примерами.

Из краткого обзора ключевых слов и соответствующих понятий очевидно, что суммарная конструкция, выражающая главную идею этого стихотворения обращения "книжицы" и – шире – всего "Катехизиса", может быть выражена формулой типа: *imti & skaityti & permanyti* (все 2. Pl. Imper.) & *mokslas* (Acc. Sg.) "принять & читать & уразуметь & учение (науку)", ср. *žinoti & mokslas* (Acc. Sg.) "знать & учение (науку)". Единственное уточнение, которое здесь необходимо, относится к *mokslas*. Вопрос о наполнении "*mokslas*" смыслом, о его содержании решается просто, стоит только обратиться к тексту: *mokslas* – это наука христианства и христиан, священная наука Бога, указывающая истинный путь к Божьему Сыну.

Обращение "книжицы" к литовцам и жемайтцам, именуемым братьями и сестрами, сразу же вводит читателя *in medias res* и задает тон доверия и то особое настроение, когда внимание предельно концентрируется и легко и органично воспринимает сообщение монолога, подготовляющего собравшихся к тому, чтобы выслушать сообщение "книжицы", чудесное явление которой произошло как бы за минуту перед тем, как начинается ее речь. Иллюзия присутствия при этом сама по себе захватывает читателя и сейчас, как она захватывала тех, кто в п е р в ы е слышал этот в п е р в ы е читаемый текст в конце первой половины XVI в. Легко вообразить себе, как пастор в храме читает этот текст собравшейся пастве: обстановку в храме, фигуру и голос пастора, впервые читающего своим духовным детям эти слова, и их, возможно, смущенных новизной происходящего и слышащих не знакомые слова богослужения, а живое, как бы светское слово, обращенное к ним не просто как к верующим христианам, но индивидуально, от сердца к сердцу. Но можно представить себе эту сцену и аллегорически, в духе позднего Возрождения, когда недалеко было уже и до барочной образности, – ожившая книга (и это тоже чудо) терпеливо, но убежденно, не без настойчивости обращается к людям, разъясняет им необходимое, уговаривает, дает советы, где нужно, журит и даже напоминает людям о Страшном Суде.

Первые 12 стихов текста вводят в ситуацию, минуя экспозицию, энергично и предельно экономно. Рамка этого фрагмента – призывы "книжицы" взять ее, прочитать и уразуметь ее смысл (в начале) и благосклонно и радостно принять Божье слово и учить ему своих домочадцев (в конце). Первый призыв носит общий характер. Почему надо его выполнить, строго говоря, не разъясняется. Главная цель "книжицы" в этих строках подчеркнуть, что то, чего отцы людей, к которым *hic et nunc* обращена речь, желали, но не могли получить и даже увидеть или услышать, н ы н е п р и ш л о к н и м. "Смотрите и присматривайтесь!" – промежуточный призыв, чтобы не пропустить чудо воплощения Божьего слова в книгу на родном языке. И даже – что важнее в этом случае – не столько даже пришло, сколько еще "В о т и д е т к в а м", и, пока не поздно, как бы на ходу, это Божье слово надо принять – и принять для того, чтобы учить ему домочадцев. Упустить это сделать сейчас было бы непростительной ошибкой. Счастье, которое выпало на э т и х людей и которого не знали их отцы, налагает на них гораздо большую ответственность, чем та, что была у их отцов. Почему надо спешить сделать то, к чему призывает "книжица"? Потому что тогда можно снискать любовь Бога и быть прославленным перед глазами Божиими, потому что можно тогда воистину узнать Бога и приблизиться к Царствию Небесному, потому что можно иметь успех. Но обращение в деликатной (косвенной) форме указывает и соблазны греха, подстерегающие людей, – хула на слово Божье, промедление с обращением к нему, пренебрежение к "книжице", которое чревато неполучением того призыва, что может быть извлечен из ее чтения, пребывание в духовном заблуж-

дении и, наконец, дойдя до предела, – "А кто не хотел бы этой науки знать и учить, / Тот в вечных потемках пребудет" (31–32). И снова приглашение людям приблизиться к ней, к "книжице" и жить "по этой святой науке".

Впрочем, пребывание в вечных потемках от незнания "этой святой науки" – уже совершившийся факт. Речь идет о "старых потемках" (*tamsibes senases*) языческой веры, от которых надо избавить сыновей и дочерей своих. А без краткой христианской науки, без усвоения ее сделать этого нельзя. Если же это сделать, то люди смогут сами себя привести в порядок (*ius patis sawe redisit*, 38, – уверяет своих слушателей "книжица").

Далее "книжица" говорит о конкретных воплощениях-персонификациях этих языческих потемок – о кауках, лаукосаргах, Жемепатисах и чертовских богинях, которые не могут дать людям ничего хорошего, "но всех навеки погубят" (*Bet tur wysus amszinaï prapuldintu*, 42), тогда как все богатства и здоровье – не от них, а от Бога, сотворившего единым словом небо и землю, создавшего людей и все вещи и составившего заповеди, собранные в самой "книжице". Только Он может помочь каждому человеку, прибавить здоровья и счастья. Бог любит всех и в Царствии Небесном им "дары даровать" хочет. Ни Айтвару, ни богиням это недоступно, но причинить вред они могут. "Бросьте этих богинь, к Богу великому пристаньте", – вот главный совет "книжицы" тем, кто еще блуждает в "старых потемках". И науку христианства надо принимать не просто с готовностью, но и радостно: она помогает познать Бога и указывает истинный путь ко Христу. Без нее же – блуждание во тьме вместе с "богинями".

И вот в этот момент, когда слушающий может подумать, что вся эта речь "книжицы" обращена не к нему или даже вообще не о нем, а если к нему и о нем, то не конкретно, а отвлеченно, – возникает живая картинка бытия, как бы списанная с натуры, дается портрет человека, каких было много, вероятно, даже большинство в Литве середины XVI в. Этот первый портрет типичного литовца (хорошо, если из сотни можно было бы найти хоть одного иного, – полагает "книжица") ярок и убедителен и позволяет в известной степени восстановить всю сценку и даже предположить с правдоподобием диалог пастыря с человеком, который принял христианство, слышал о нем, но живет, как ему удобнее, в мире язычества и по языческим законам. Стихи 63–78 – словесное описание подлинной ситуации:

Я знаю и отваживаюсь здесь это сказать,  
Что из сотни людей и одного не мог бы найти,  
Кто бы (хоть) одно слово Божьей заповеди выучил  
И хоть два слова (из) "Отче Наш" припомнил бы.  
Если спросишь человека, может ли он "Отче Наш" сказать,  
Не мог бы он заповедей Божьих припомнить  
Или правила веры христианской может ли прочесть,  
О спасении души не может ли чего знать, –  
Сразу же человек тебе обычно отвечает,  
Что лучше камень пахать, чем "Отче Наш" говорить.  
Как произносят Божьи заповеди, я никогда не слышал,  
Ни правил христианской веры не читал.  
В церкви я с десяти лет не бывал,  
Только с колдуньей на колдовства я, бывало, глядел.  
Лучше уж со святой колдуньей петуха есть,  
Чем в церкви возглашение учеников слушать.

И как бы увидев все это и услышав, в ответ звучит бессильное, почти отчаявшееся Ах! пастыря духовного или его "книжного" воплощения. Людей жалко: ведь не всякого из них захочет иметь Бог у Себя, а только тех, кто, усвоив науку христианства, смог привести себя в предписываемый порядок. Но между простыми

людьми и Богом может стоять кто-то, кто забывает о людях, об их духовном просвещении.

Эй, господа всякие, к людям смиростивьтесь,  
К священникам и ученикам людей посылайте,  
Каждую неделю в церковь ходить велите,  
Священников, чтобы учили людей, понуждайте.  
Настоятелей, священников в один голос просите.  
Чтобы этой науки не прятали, очень молитесь (83–88)

Но если священники проявят леность, то эти господа сами должны уметь в своих домохозяйствах учить людей, хотя "священников служба – людей учить, / Ибо все (они) к этому предназначены" (91–92). На священников прежде всего рассчитывает и сама "книжица", и к ним особо настоятельная просьба учить людей науке христианства, хотя бы краткой, поскольку без нее невозможно будет перейти и к более пространному ее изложению. И главное предупреждение священникам – не медлить. А иначе:

Овец ваших навеки погубите.  
Поэтому, священники, к овцам (вашим) смиростивьтесь.  
Страшного Суда и гнева Божьего бойтесь (102–104)

И к людям:

Лучше, о люди, здесь Божьих слов выучить,  
Чем Страшный Суд или Божий гнев иметь (105–106)

И снова к священникам –

(...) эту краткую науку в руки берите  
И овец ваших этой краткой наукой питайте

.....  
И долго Божьей волей на свете живите.  
Божьего слова горячо днем и ночью ищите,  
А мою работу за благо примите (107–112).

На этом речь "книжицы", обращенная к литовцам и жемайтам, оканчивается, и как бы предполагается, что призывы будут услышаны, благие советы использованы и программа христианского просвещения в новых условиях появления письменности на родном языке будет выполняться.



© 1999 г. З. ЗИНКЯВИЧЮС

## ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИТОВСКИЕ ТЕКСТЫ ДО МАРТИНАСА МАЖВИДАСА

Сведений о том, когда на самом деле начали писать по-литовски, нет. В страны Восточной и Центральной Европы письменность пришла с принятием христианства. Литву начали крестить во времена Миндовга (Миндаугаса). В 1251 г. были крещены правитель Литвы Миндовг (Миндаугас), его семья и многие дворяне. В Вильнюсе был построен кафедральный собор, фундамент которого был недавно раскопан около теперешнего кафедрального собора. Некоторое время – до убийства Миндовга (Миндаугаса) – Литва считалась христианской страной.

Тогда на литовский язык должны были быть переведены повседневные и вообще важнейшие молитвы. Анализ языка литовских повседневных молитв заставляет думать, что они были переведены не с польского, а с немецкого языка. Кроме всего прочего, на это указывает присутствие слова "Бог" в литовских, а также в латышских и прусских (эти народы крестили также немцы!) молитвах в тех случаях, когда в польском тексте его нет (крестное знамение, "Верую во единого Бога Отца..." и др.).

Вероятнее всего, повседневные молитвы на литовский язык перевели францисканцы. Последние прибыли в Литву около 1245 г., предположительно из Риги. Когда литовский правитель Миндовг (Миндаугас) решил креститься, францисканцы стали учить христианским истинам его, его семью и других литовцев, желавших принять крещение. Должно быть, тогда они и перевели молитвы. Утверждение, что это сделал король Ягайло (Йогайла), недостоверно. Короли сами не переводят молитв. Ягайло (Йогайла), разумеется, мог приказать и, возможно, приказал сделать это францисканцам (в Вильнюсе тогда находился их монастырь), но тем уже не надо было переводить молитвы – у них имелись ранее переведенные,

После убийства короля Миндовга (Миндаугаса) в 1263 г. источники некоторое время не упоминают о францисканцах. Может быть, они покинули Литву, но это недостоверно. Однако вскоре, во время правления Витеня (Витяниса) (1296–1316), они снова подвизались здесь и больше никуда из Литвы не уходили. Есть сведения, что Гедимин (Гедиминас) пользовался их помощью, когда писал свои знаменитые письма в Западную Европу. Можно вспомнить легенду о мучениках-францисканцах, в честь которых на Лысой горе поставлены знаменитые вильнюсские Три Креста. Считается, что учителем Ягайло (Йогайлы) был францисканец Петр Филарг из Кандии, позже ставший лектором Вильнюсской францисканской школы. Францисканцами были и первые епископы основанного Ягайло (Йогайлой) в Вильнюсе епископства Андрей Василя (Andriejus Vosylius) и Якоб Плихта, знавшие литовский.

Понятно, что только духовенство, владевшее литовским языком, могло утвердить христианство. Ни первое официальное крещение Литвы во времена короля Миндовга

(Миндаугаса), ни второе состоявшееся спустя почти полтора года в правление Ягайло (Йогайлы) и Витовта (Витаугаса) Великого (в 1387 г., в Жемайтии – в 1417 г.), сами по себе не превратили литовцев в христиан. Тогда были крещены только правители (второе крещение положило начало непрерывной традиции правителей-христиан) и большое число их приближенных, во время второго крещения – много и простых людей. Но формальное крещение не могло сделать народ христианским. Христианство могли укоренить, и позднее укоренили на самом деле, только священники, знавшие литовский язык, а таких во время официального крещения было еще очень немного. Таким образом, следует различать официальное крещение и христианизацию народа, которую начали и длительное время проводили в основном францисканцы, затем весьма активизировали иезуиты, особенно после победы над Реформацией.

Без использования письма, молитв и других текстов было бы невозможно это сделать. Трудно представить, что во времена Миндовга (Миндаугаса) францисканцы могли работать без всяких рукописных литовских текстов. В церковной практике немислимо обойтись без самых нужных текстов на родном языке. Священники не могли эти тексты держать только в памяти, без каких-либо записей. Они должны были пользоваться рукописными записями повседневных и некоторых других молитв, а может быть, и песнопений. Вначале эти записи, видимо, были краткими, позже должны были появиться и более пространные. Они утратили свой смысл, когда начали печататься книги на литовском языке. Их никто не собирал, не хранил, поэтому они быстро затерялись, исключая те, которые были записаны на пустых страницах и полях ранних печатных латинских книг (привозимых с Запада). Но это было позднее. Во времена Миндовга (Миндаугаса) еще не было латинских печатных книг, в которые были бы вписаны литовские тексты – печать была изобретена через два столетия после крещения Миндовга (Миндаугаса) (в 1447 г.).

Самые древние обнаруженные до сих пор записи в латинских книгах, сделанные еще до появления литовских печатных книг, следующие. Важнейшая из них – так называемый старейший литовский текст повседневных молитв. Его обнаружила в 1962 г. О. Матусявичюте в библиотеке Вильнюсского университета. Исследовали и описали его Ю. Лебедис и Й. Палёнис [1; 2]. Текст написан от руки в 1503 г. в Страсбурге на последней странице изданной по-латыни книги для священников "Tractatus sacerdotalis". Книга принадлежала францисканскому монастырю в Вильнюсе. Автором этой записи скорее всего был монах. Рукописный текст, занимающий 25 строчек, составляют три повседневные молитвы: "Отче наш", "Богородице Дево, радуйся" и "Символ веры". Диалектологический анализ текста указывает на Вильнюсский край [3. Р. 237–239]. Речь писавшего надо искать где-нибудь на юго-востоке от Вильнюса, скорее всего в полосе Девянишкес – Тробай – Лазунай, а может, и дальше, в современной Белоруссии, где в наше время уже не говорят по-литовски, но сохраняются многочисленные топонимы литовского происхождения.

В 1986 г. С. Нарбутас нашел около 100 кратких записей по-литовски (отдельных слов, фраз) примерно того же времени в одной латинской богослужбной книге, изданной в 1501 г. в Лионе во Франции [4. Р. 325–341]. Запись сделана одним лицом. Письмо напоминает старейший рукописный текст повседневных молитв. Эта книга также принадлежала францисканскому монастырю, так что, скорее всего, запись сделал францисканский монах. Диалектологический анализ показывает, что этот человек должен быть родом из той части Литвы, которая до войны была оккупирована поляками, скорее всего, из окрестностей Тракай – Эйшишкес [3. Р. 239–240; 4; Р. 337–341].

Нет сомнения, что до того, как иезуиты проникли в Литву и начали печатать литовские книги, в францисканском монастыре в Вильнюсе литовский язык в какой-то степени использовался как письменный. Примечательно, что графика старейших литовских записей напоминает латинскую того времени (не польскую!), используются специфические латинские буквы, сокращения и др. Она, вероятнее всего, воспринимается как наследие традиции, идущей со времени Миндовга (Миндаугаса).



Недавно С. Нарбутас обнаружил еще одну старую литовскую запись в сборнике латинских проповедей ("Homilii"), который сейчас хранится в библиотеке Вильнюсского университета [5]. Установлено, что запись сделана между 1530 и 1579 г. Запись очень короткая – всего два слова, но очень информативная [6]. С. Нарбутас выяснил, что запись была сделана еще до того, как книга попала в францисканский монастырь. Скорее всего, писал настоятель костела св. Марии Магдалины Повилас, который подарил эту книгу монастырю в 1579 г. (костел св. Марии Магдалины стоял на теперешней Кафедральной площади, на месте, где сейчас находится стоянка для автомобилей). И эта запись показывает, что в то время литовский язык письменно использовался не только монахами-францисканцами, но и священниками в тех костелах, где читались проповеди на литовском. А таких в Вильнюсе тогда должно было быть немало. Ведь польский язык в столице Литвы начал распространяться только примерно с 1544 г., когда здесь поселился Сигизмунд Август со своим пышным польским двором. В то время многие литовские магнаты выучили польский язык и стали его широко употреблять. Простые горожане-литовцы, конечно, этого языка еще долго не понимали, и для них в костелах проповеди читались по-литовски.

Следует обратить внимание на донесение иезуитов в Рим, датированное 1619 г., в котором говорится, что большую часть жителей города Вильнюса составляют литовцы, у них свои 18 костелов [4. Р. 58]. Костел св. Марии Магдалины, должно быть, был одним из 18, предназначенных для литовцев. В нем, как и в других, не только читались проповеди по-литовски, но и, как указывает последняя запись, литовский язык использовался письменно.

Нет сомнения, что названные литовские записи в упомянутых латинских книгах не единственные, их должно было остаться больше. Однако никто их до сих пор специально не искал. Да и имеющиеся были обнаружены случайно. Среди множества латинских записей (попадают и польские) их заметить нелегко. В будущем, конечно, их обнаружится больше.

Есть сведения, что в первой половине – середине XVI в. существовали литовские рукописные тексты не только религиозного, но и светского содержания. Два таких текста попали в книги, изданные на других языках. Это литовское предложение в издании 1564 г. "Хроники всего мира" Мартина Бельского и литовское приветствие в девяти строках королю Сигизмунду III Вазе, написанное гекзаметром неизвестным автором (это один из первых примеров такого рода стихотворного сочинения на народном языке в европейской литературе!) и опубликованное иезуитами в 1589 г. в книге, специально приуроченной к прибытию короля в Вильнюс [7]. Кстати, анализ языка этого гекзаметрического текста позволяет отнести его автора к Виленщине, территории к северо-западу от Вильнюса [3. Р. 240–241]. Текст из двух слов слишком мал, а текст из хроники Бельского слишком искажен, чтобы можно было локализовать говор их автора, но в них нет данных, которые противоречили бы его происхождению с Виленщины. Этот довольно полонизированный теперь край играл тогда очень важную роль в культурной жизни Литвы. Оттуда были родом известные деятели литовской культуры того времени – сотрудники Мартинаса Мажвидаса Станиславас Раполёнис (из Эйшишкес), Александрас Родунёнис (Радунь), Юргис Заблоцкис (славянский вариант фамилии Ужубалис или из Заболоти, к юго-западу от Эйшишкес) и др. Наконец, литовский язык этого края позже дал начало так называемому восточному варианту старого литовского письменного языка, который в XVI–XVII в. и назывался именно литовским языком (на нем написаны книги Константина Сирвидаса, Йонаса Якнавичюса и других вильнюсских авторов) и который четко отличался от среднего варианта, тогда называемого жемайтским языком (на нем писал Микалоюс Даукша и др.), хотя он не имел ничего общего с современным жемайтским наречием (название произошло от Жемайтйского епископства, которому в первую очередь были предназначены эти писания).

Рукописная литовская литература, от которой до нас дошли только обрывки, оказала влияние на авторов первых печатных книг в Великом княжестве Литовском.

Например, Микалоюс Даукша, издавший первую в Великом княжестве Литовском литовскую книгу ("Катехизис" в 1595 г., а в 1599 г. и "Постиллу"), взял из нее букву *e* с похожим на носовой значком, которая использовалась для выделения широкого *e*, и традицию ставить ударение в тексте, который переняли другие авторы старых книг ("Катехизис" 1605 г. и др.). Однако в "Катехизисе" Мажвидаса и в первых книгах, напечатанных в Пруссии, таких букв нет; видимо, там придерживались шрифта, имевшегося в типографиях Кёнигсберга (Каралаячюса).

Из всего, что было сказано, следует, что возраст письменного литовского языка надо увеличить по крайней мере на полстолетия за счет литовских записей в латинских книгах; на самом же деле можно предположить, что по-литовски писали намного раньше, может быть, даже более, чем на два столетия, вероятно, с самых времен Миновга (Миндаугаса), хотя текстов того времени не сохранилось.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Lebedys J., Palionis J.* Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas // Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai. 1963. № 3. P. 109–135.
2. *Lebedys J.* Lituaniškos baruose. Vilnius, 1972. T. 1. P. 21–54.
3. *Zinkevičius Z.* Lietuvių kalbos istorija. Vilnius, 1988. T. 3: Senųjų raštų kalba.
4. *Narbutas S., Zinkevičius Z.* Lietuviškos glosos 1501 m. mišiole // Baltistica, 1989. № 3 (2).
5. *Narbutas S.* Lietuviška marginalija 1530 m. Homilijose // Kultūros barai. 1995. № 2. P. 56–59.
6. *Zinkevičius Z.* Mintys, kurios kyla susipažinus su Sigito Narbuto atrasta lietuviška marginalija 1530 m. Homilijose // Lituaništika. 1995. № 3(23). P. 62–65.
7. *Gerullis G.* Litauische Hexameter von 1598 // Filologu biedribas raksti. 1930. № 10. S. 9–13.



© 1999 г. Д. КУОЛИС

## ПОНЯТИЯ "ЛИТОВЕЦ" И "ЛИТВА" В ЛИТОВСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVI–XVII ВЕКОВ

Первые литовские тексты, напечатанные в Пруссии, а позднее и в Великом княжестве Литовском, можно интерпретировать в качестве характерных для литовского общества того времени, в первую очередь его культурной элиты, свидетельств отображения национального самосознания. Развитие используемых в этих текстах понятий "литовец", "Литва", одновременно с понятием нация, учитывая контекст иноязычной письменности того времени, может пунктирно обозначить преобладавшие тогда черты литовского национального самосознания.

Авторы XVI–XVII вв. адресат своих трудов – культурную общность, с которой сами себя отождествляют, определяют через понятие "нация": *gens*, *natio*, *naród*, *Volck*, *gimínė*. "Nostra gens" – так называет литовцев М. Мажвидас в предисловии "Пастырям и слугам литовского костела" к "Катехизису" (1547) [1. Р. 51]; "mea gens" они названы в предисловии Варфоломея Вилента к "Евангелиям и эпистолам" (1579) [2. Р. 80]; "gens Lithuanica" – в предисловии к "Постиле" (1591); "die Nation" – в немецкоязычном письме Ионаса Бряткунаса прусскому герцогу [2. Р. 116]; "nasz Litewski naród" – в "Обращении к любезному читателю" Микалоюса Даукшы к "Постиле" (1599) [3], "die Littawsche Nation" – в предисловии к "Псалтыри Давида" (1625) [2. Р. 252], "Naród nasz" – пишет анонимный автор труда "Кнуга nobažnystės" (1653) в "Обращении к любезному читателю христианину" [2. Р. 318], "gens Litvanica" – Даниель Клейн в предисловии к книге "Gramatica Litvanica" [4]. Национальной общности предназначены и интимные литовские обращения: "Прошу я вас, литовцев и жемайтийцев, милых братьев и сестер" ("Praschau asch ius, Letuwinikus ir Že- / maiczius, milosius bralius ir seseris") в "Катехизисе" М. Мажвидаса [1. Р. 85], "ты моя милая Литва" ("tu mana miela Lietuwa") – в "Постиле" Бряткунаса [5], "моим землякам Литве и Жемайтии" ("mana Ziemlonims Lietuwai ir Zemaiczems") – Симонаса Вайшнораса в предисловии к книге "Žemčiūga teologiška" (1600) [2. Р. 191].

Во всех этих случаях нация понимается как этнокультурное целое. Литовский язык считается существенным показателем тождества этого целого. Слова "нация" и "язык" в текстах постоянно сопровождаются местоимениями "мой", "наш", объединяющими эти понятия на семантическом уровне личности. Принадлежность к нации и выражающая ее принадлежность к языку становятся самыми главными слагаемыми тождества личности. В предисловии к "Катехизису" Мажвидаса "nostra gens" соотносится с "lingua Lituanica nostra", "braliai ir seserys" – с выражением своего языка ("liežuvis"): "Bralau milasis, skaitidams tатаi žinasy / Jag tassai liežuvis dabar rieschkiesy" ("Милый брат, читая это, узнаешь, как тот язык теперь выражается") [1. Р. 85]. В тексте Вилента "mea gens" неотъемлемо от "lingua Lithuanica", "lingua patria" [2. Р. 79–

80]. В польском предисловии к "Постиле" Даукши в одно смысловое сочетание сплетаются "наш литовский народ" ("nasz Litewski naród") и "наш язык отчизны" ("nasz ięzyk Ouczysty"). В латинском предисловии, обращаясь к епископу Жемайтскому Мяркялису Гедрайтису, Даукша литовский язык определяет, используя понятие "язык нации" ("gentis tuae idioma") [3]. В предисловиях Вайшнораса и Захария Блотного "к моим землякам, Литве и Жемайтии" ("mana zemlonims, Lietuwai ir Zemaiczems") в книге "Žemčiūgas teologiškas" выделено "литовское слово" ("lietuwischkas žodis"); "польза летувнинов" ("nauda lietuwninku") соотносится со словой "этого нашего литовского языка" ("schio musu lietuwischkoio liežuvio") [2. P. 183–184, 191]. Анонимный переводчик изданного в Вильнюсе в 1605 г. "Катехизиса" говорит, что своим трудом стремится, чтобы "Литва наилучше свой исконный литовский язык познала и понимала" ("idant Lietuwa tuo gieraus / ir labiaus sawo Lietuvszku Liežuvi ir pazintu / ir permanitu") [2. P. 20]. По определению М. Резы, "die Littawsche Nation" – соответствует "Littawsche Sprach", "Muttersprach" [2. P. 248, 252]. Клейн в предисловиях к "Грамматике" и "Книге новых песнопений" "gens Litvanica" объединяет с "lingua Litvanica", "nostra Litvanica Grammatica", "nostra vernacula lingva" [2. P. 360–361].

Писание на литовском языке самими литовскими авторами понимается как благородное патриотическое действие. Обязанность, взятая на себя пишущим человеком перед национальной литовской культурой, часто становится более важной и в личном плане более ценной, чем гражданская обязанность перед государством и правителем. Национальная верность исповедуется одновременно с верностью Богу. Мажвидас в первой части предисловия "Уважаемым пастырям и слугам литовского костела" к книге "Христианских песнопений" (1566), определяя смысл своей работы, предназначение литовского песенника видит в том, "чтобы литовская церковь вдохновенно и верно восхваляла имя единственного небесного Бога Отца и нашего Повелителя Иисуса Христа, Его честь, славу и заслуги, и чтобы наше родное слово, служа нам, осталось живым и было передано потомкам" [1. P. 193]. Бряткунас, хотя и называет Прусское герцогство "своей любимой родиной", в письмах не раз предупреждает герцога о том, что, если он не дожидется должной помощи своей работе по сохранению литовской национальной идентичности, он будет вынужден искать более благоприятные условия для труда "за пределами этого княжества, в Литве или где-нибудь еще", и что Литовскую Библию – "meine Littausche Arbeit" – он доверит другому патрону [6. S. 427–428, 436–437].

В литовской письменности прослеживается четкий водораздел между смыслом, вкладываемым в выражения "наша нация", и "Великое княжество Литовское", между понятиями "нации" и "родина". Этот водораздел наблюдается уже в первой литовской книге. "К литовцам и жемайтийцам" ("Lietuvinikump ir Szemaicziump") пишет Мажвидас, обращаясь к соотечественникам, и "Ad Magnum Ducatum Litvaniae" – обращаясь к "счастливой родине великих правителей". Подобную грань проводит в "Обращении к любезному читателю" и Даукша: "Прими, Великое княжество Литовское, этот мой труд, маленький, но появившийся из огромной любви к тебе. Слушай и наш народ ученого мужа..., обращающегося к тебе уже не на польском, а на твоём собственном языке" [3]. Одновременно в тексте Даукши наблюдается усилие по преодолению этой грани, стремление отождествить понятия "родина" и "нация". Способы преодоления – поведение провозглашающей тождество нации и народа личности ("наше славное Литовское княжество", "наш литовский народ"), и как ценность для всех людей родины предлагается родной литовский язык, так как своим литовским трудом Даукша стремится угодить "не только литовской церкви, но и всем гражданам Великого княжества Литовского". Он желает "побудить наших любить язык отцов, употреблять его и развивать. Ведь это для нас и для всех жителей Великого княжества Литовского, как было сказано, должно быть важным" [3]. Таким образом, "мы" является всего лишь частью "всех жителей" княжества. Однако одинаково о литовском языке должны заботиться "наши" – в это понятие входят как "наш народ", так и другие граждане "нашего Литовского княжества".

В древних литовских памятниках письменности для обозначения нации обычно используется термин "giminė". Кажется, лишь Даукша параллельно употреблял как однокоренные понятия "tauta" и "giminė" [3. P. 226; 7]. В литовских текстах его современников и позднейших авторов, даже в начале XIX в., преобладает "giminė". Анонимный словарь XVII в. "Lexikon Lithuanicum" использует термин "tauta" лишь для обозначения немцев, "Deutschland" определено как "tauta Woke" ("народ, нация немцев"). В данном случае "tauta" – заимствование из прусского языка (ср. прусское "tauto" в значении "страна, край") [8–10].

Строка третьего издания (1642) словаря "Dictionarium trium linguarum" Сирвидаса гласит: "Narod / Natio, gens, genus. Giminė" [11]. Словом "giminė" определяются и этнокультурная национальная общность, и политическая нация, т.е. и собственно литовцы, и граждане Великого княжества Литовского. В этом смысле красноречивым является первый литовский гекзаметр "Pakuvietimas Lietuvos Gimines" ("Приглашение литовского народа"), напечатанный в 1589 г. в книге "Gratulationes": "Linksminktes Lietuvós giminės, Kungayksztys ateysi / Iusu žemėsnu; iamū skautykte Triumphu" ("Радуйтесь, народы Литвы, Князь приходит на вашу землю, ему воздайте славу" [12]. В этом тексте речь идет и о "народе Литвы", и о "народах Литвы". В первом случае "народ" обозначает политическую, во втором случае – этнокультурную общность. Понятию "литовский народ" в русской и польской письменности того времени соответствует выражение, обозначающее нацию с точки зрения политической – "народ Великого княжества Литовского" [13; 14]. Это политическое понятие раскрывает и связывает с литовским понятием "литовский народ" заглавие исторической книги, написанной Матвеем Стрыйковским в Слуцке в 1575–1577 гг.: "О начале... славного народа литовского, жемайтского и русского..." ("O początkach... sławnego narodu litewskiego, żemajdzkiego i ruskiego...") [15]. Таким образом, политически народ "литовцев, жемайтийцев и русских" понимали как соединение трех этнокультурных общностей, трех народов. "Литовский народ" обоснованно можем раздробить на "литовский народ", "жемайтский народ" и "русский народ". Все эти понятия этнического порядка характерны и для иноязычных текстов Великого княжества Литовского. "Народ литовский", "народ русский", "люди народу русского" – так определяются народы княжества.

В XVI в. понятие "литовский народ" ("naród litewski") использовалось и в гораздо более широком смысле. Стрыйковский с его помощью определяет народы родственных языков и обычаев: литовцев, латышей, пруссов, куршей, жемайтийцев, ятвягов и половцев. Лишь последние ошибочно считались родственными литовцами. В рукописной истории "О начале" написано: "Вначале это был один народ: Литва, Курляндия, Латвия, Жемайтия с Ятвягами, Половцы, Пруссы" ("Lecz to był jeden naród: Litwa, Kurlandowie, / Łotwa, Żmójdz z Jaćwingami, Połowcy, Prusowie") [15. S. 55]. Таким образом, слова "литовский народ" обозначают родственные балтийские народы. Одновременно этому понятию пытались придать и политический характер. Стрыйковский, труд "О начале", изданная в 1582 г. "Хроника Польши, Литвы, Жемайтии и всей Руси" ("Która przedtym nigdy światła nie widziała Kronika Polska, Litewska, Zmódzka i wszystkiej Rusi") подчеркивают политическую солидарность этих народов в борьбе с общим врагом – поляками, немцами и "москвитами". Мифическим выражением политического единства и единства культур балтийских народов стала легенда, связанная с мифическим прусским и литовским королем Вейдевутом (Вайдавутисом). Миф о существовании некогда Балтийской империи связывался с практическим языковым опытом тех лет. Литовский язык и языки родственных литовцам народов, согласно Стрыйковскому, сегодня далеко распространяются за пределы Литовского государства, они используются и в Московском государстве, и в Прусском герцогстве – от Великого Новгорода до Кёнигсберга и Гданска [15. S. 55–56, 85–86, 110–111; 16].

Подобный же географический образ литовского языка в середине XVII в. создавал переводчик литовской Библии Самуэль Богуслав Хилинский. В изданной в 1659 г. в Оксфорде на английском языке книге "An Account of the Bible in the Lithuanian Togue" и

в позже опубликованном ее латинском варианте Хилинский обосновывает необходимость печатания литовской Библии широко распространением употреблением литовского языка и в Литовском государстве, и в соседних краях: в Ливонии, Курше, Черной Руси, Восточной Пруссии, у границы с Москвой [17].

Возможно соотнесение определяемого Стрыйковским и Хилинским в своих текстах географического образа литовского языка с предложенным польским историком Матвеем Меховским понятием литовского языка, состоящего из четырех слагаемых (*lingva quadrupartita*). В изданной в Кракове в 1515 г. книге "О двух Сарматиях" Меховский определяет языки ятвягов, литовцев и жемайтійцев, пруссов и латышей как четыре диалекта одного и того же литовского языка [18]. Неизвестно происхождение этой теории, неизвестны истоки концепции Меховского. Можно лишь предполагать, что основой ее был непосредственный языковедческий опыт времен Ренессанса.

Представления о самосознании культурной элиты литовцев XVI–XVII вв. еще с одной точки зрения дополняет часто употребляемое в письменности того времени понятие "литовская церковь" ("*lietuwas basznitcza; Ecclesia Lithuanica; die Littausche Kirche; kościół Litewski*"). В текстах протестантов и католиков это понятие имеет четкий национальный характер. Кажется, первым его использовал Мажвидас, связывая "литовскую церковь" с "нашим родным словом". "*Ecclesia Lithuanica*" им понимается как литовская национальная общность, прославляющая Бога на своем, литовском языке. Подготовка литовских письменных памятников понимается как создание "литовской церкви" [1. Р. 193]. "Литовская церковь" – основной адресат многих литуанистических трудов.

И Мажвидас, и немалая часть других представителей литовской культуры, работавших в так называемой Прусской Литве, смотрели на "литовскую церковь" как на общность, перешагнувшую границы Прусского государства, проживающую в соседней Жемайтии и Литве [2. Р. 260]. О такой точке зрения красноречиво свидетельствует используемая в письмах Бряткунаса фраза "литовская церковь, особенно этого Прусского княжества" ("*die Littauische Kirche, // sonderlich dieses Furstenthumb Preussen*"). В письмах прусскому герцогу Бряткунас пишет о своем "литовском труде" на благо "литовской церкви" – он подготовил литовскую Библию, "очень необходимое сочинение в этом Вашем княжестве и во всей Литве и Жемайтии" [6. S. 436, 439, 441]. Кажется, лютеране, используя понятие "литовская церковь", больше подчеркивали ее не конфессиональный, а национальный характер.

Идея национальной церкви присутствует и в письменных памятниках католиков того времени. Даукша в предисловии к "Постиле" выражает надежду, что своим трудом угодит "не только литовскоязычной церкви, но и всем гражданам Великого княжества Литовского" [3]. Понятие "литовскоязычная церковь" ("*kościół Litewskiego języka*") особенно четко указывает на национальное своеобразие представляемой Даукшей церкви. "Литовская церковь" здесь подчеркнуто связывается с литовским языком. К этой церкви Даукша не относит иноязычных граждан Великого княжества Литовского, хотя выражает надежду, что и им литовские книги будут необходимы.

Обобщая изложенное, можно утверждать, что в письменных памятниках XVI–XVII вв. понятия "Литва" и "литовец" использовались и в этнокультурном, и в политико-гражданском значениях. Культурной элитой литовцев того времени понятие "литовский народ" воспринималось и как этническая, языковая общность, и как гражданское общество. Этническая литовская общность часто обозначалась объединенным названием "Литва и жемайтійцы". В отдельных случаях между этими двумя народами проводился водораздел с точки зрения культуры и языка. Существуют тексты, в которых понятию "литовский народ" придается общепольское значение: при помощи его характеризуются не только литовский и жемайтійский, но и прусский, ятвяжский, латышский народы. Яркий этнокультурный характер в письменных памятниках того времени приобретает понятие "литовская церковь". Оно обычно обозначает литовскую этническую общность, объединяемую христианством и родным литовским языком, проживающую в Прусской Литве и Великом княжестве Литовском.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mažvydas M.* Katekizmas ir kiti raštai. Vilnius, 1993.
2. XVI–XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos / Parengė R. Koženiauskiene. Vilnius, 1990.
3. Daukšos Postilė. Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926.
4. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 1957. P. 70.
5. Postilla Tatai esti Trumpas ir Prastas Ischguldimas Euangeliu (...) Per Iana Bretkuna (...) Karaliaucziue, 1591. T. 2. P. 76–77.
6. *Falkenhahn V.* Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer. Königsberg; Berlin, 1941.
7. Mikalojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas. Vilnius, 1995. P. 150.
8. *Lexicon Lithuanicum* / Parengė V. Drotvinas. Vilnius, 1987. P. 118–119.
9. Prūsų kalbos paminklai / Parengė V. Mažiulis. Vilnius, 1981. T. 2. P. 45.
10. *Zinkevičius Z.* Lietuvių kalbos istorija. Vilnius, 1988. T. 3. P. 75.
11. Pirmasis lietuvių kalbos žodynas / Parengė K. Pakalka. Vilnius, 1979. P. 293.
12. Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija. Feodalizmo epocha. Vilnius, 1957. P. 114.
13. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1851. Т. 4. С. 5.
14. *Sapiehowie.* Petersburg, 1891. Т. 2. S. 413–432.
15. *Strykowski M.* O początkach, wywodach, dzielnosciach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego. Warszawa, 1978.
16. *Strykowski M.* Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846. Т. 1. S. 43–47, 80, 168, 180–184.
17. *Lukšaitė I., Lietuviškos S.B.* Chilinskio biblijos spausdinimo aplinkybės // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Vilnius, 1971. A serija. T. 1(35). P. 90.
18. *Mathias de Miechow.* Descriptio Sarmatiarum Asianae. Kraków, 1515. Lib. sec. Cap. 3.



© 1999 г. ПЬЕТРО У. ДИНИ

## ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОКАХ БАЛТИЙСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ<sup>1</sup>

Общеизвестно, что на сегодняшний день начало балтийской письменности можно отнести к первой половине XVI в.<sup>2</sup> В последнее время отмечаются попытки (на мой взгляд, не лишённые основания) отодвинуть границы литовской литературы в Средневековье [5]. Таким же образом можно отодвинуть назад во времени и начало латышской литературы. Поэтому правомерны следующие вопросы: каково было положение балтийского языкознания в эпоху Возрождения?; кто и каким образом выдвигал какие-либо лингвистические теории, касающиеся балтийских языков.

Реконструкция состояния балтийской лингвистики – актуальнейшая задача лингвистической историографии и так называемого палеокомпаративизма. Под палеокомпаративистами понимаются авторы, проявлявшие интерес к языкознанию еще до возникновения сравнительного метода, который, условно, принято отождествлять с работами Ф. Боппа [6; 7].

Изучение балтийской лингвистики осложняется тремя связанными между собой обстоятельствами; во-первых, поздним возникновением балтийской лингвистической историографии; во-вторых, недостаточным количеством работ на эту тему; в-третьих, недостаточной доступностью первичных оригинальных источников.

Основной интерес к языку, проявленный палеокомпаративистами эпохи Возрождения, имел генеалогический характер, однако ни в одной из известных в Западной Европе классификаций языков балтийские языки не упоминались (ни у Данте Алигьери [8], ни у Родриго Хименеса де Рада [9] ни у Андре де Поса [10], ни у Гильберта Генебрарда [11], ни у Юстуса Скалигера [12]). При желании составить более конкретное представление о первоначальном лингвистическом видении балтийских языков необходимо более подробно охарактеризовать основные теории, распространенные в то время.

**Славянская теория.** На Западе была популярна так называемая славянская теория, кстати говоря, мало известная на Востоке. Впервые формулировка этой теории встречается в произведении Энея Сильвия Пикколомини: *Sermo gentis Sclavonicus est; latissima est enim haec lingua et in varias divisa sectas* [13]. Будущий папа Пий II не упоминает названия "Литва", следовательно, как становится ясным из контекста, речь идет обо всем Великом княжестве Литовском (ВКЛ).

Процитированная выше фраза предоставляет следующие сведения: а) жители

Пьетро У. Дини – профессор Пизанского университета, Италия.

<sup>1</sup> Статья является частью проекта, подготовленного автором в 1996–1997 гг. в рамках Лингвистического семинара Университета г. Геттинген при финансовой поддержке фонда Александра фон Гумбольдта. За помощь в русском переводе благодарю своего коллегу и друга Н. Михайлова.

<sup>2</sup> Напомню только текст дзукской молитвы, найденной в "Tractatus sacerdotalis" [1] и записанные францискайцами латинско-литовские глоссы [2–4].

Великого княжества Литовского говорят по-славянски (*Sermo... Sclavonicus est*). Таким образом, едва ли не в первый раз литовский язык отнесен здесь к славянским. Традиционно объясняется, что источником Пикколомини был Иероним Пражский, но полной уверенности в этом нет; б) этот (якобы славянский) язык употребляется на весьма широкой территории (*latissima est... haec lingua*). Это утверждение легко понять, если учитывать, что речь идет обо всем ВКЛ; в) этот язык оказывается неоднородным (*in varias divisa sectas*). Вряд ли под словом "secta" Пикколомини имел в виду разнообразие литовских диалектов, о которых он, скорее всего, ничего не знал. Очевидно, этой фразой он хотел показать существование различных языков на территории ВКЛ (литовского, рутенского, русского, польского и др.).

О популярности этой теории свидетельствует также наличие у нее многочисленных сторонников. Некоторые из них даже оказались ее оригинальными продолжателями и предложили собственные варианты теории Пикколомини, например, Сабелликус (*Sermo gentis ut Polonis sclavonicus... [14]*) и Волатерранус (*Sermone vtuntur semidalmatico... [15]*). Славянская теория господствовала на Западе по крайней мере до второй половины XVI в., пока польский писатель Красиньски (Крассиниус) в своем труде "Polonia", изданном в Болонье в 1574 г. (см.: [16]), не начал полемизировать с ней, противопоставив теории славянской теорию латинскую, известную ему по работе Я. Длугоша [17].

**Латинская (римская) и греческая теории.** Впервые латинская теория встречается во второй книге многотомного произведения "Historiae Polonicae" (изданного в начале XVI в. [18], но известного по рукописям еще раньше) польского историка Я. Длугоша. Длугош упоминает три балтийских языка (пруссский, ятвяжский и литовский с жемайтским) и дает о них некоторые сведения [19].

О литовском языке он пишет: "...verisimilis tamen praesumptio, et idiomatis ac linguae eorum sonus et proportio, ex variis circumstantiis et rerum qualificationibus sumpta, ostendit, Lithuanos et Samagittas Latini generis esse, etsi non a Romanis, saltem ab aliqua gente Latini nominis descendisse..." [20. S. 470]. По мнению Длугоша, правдоподобным представляется предположение о том, что литовцы и жемайты произошли от римлян; все то, что было отмечено, т.е. звучание их языка (*sonus*) и соотношение (*proportio*), все, что приобретено языком, показывает, что литовцы и жемайты суть латинского происхождения. Заканчивая свою мысль, Длугош добавляет: а если даже они произошли и не от самих римлян, то, по крайней мере, от какого-то другого латинского племени. Достоин внимания и то, что Длугош пытается обосновать свое мнение прежде всего с помощью лингвистической аргументации. С лингвистической точки зрения объясняет он и этническое и языковое различие между литовцами и пруссами: литовцы и их язык имеют, как видно, латинское происхождение, а пруссы имеют свой собственный язык (*Pruthenorum gens... speciale habens idioma*), лишь отчасти восходящий к латыни (*à Latino... aliquantulū deriuatum*). Далее Длугош объясняет, что в прусском языке еще сохранились слова "старого языка" (*priscae linguae retinentes oracula [verba]* [18. S. 113]). Добавлю только, что *priscae lingua* – греческий, точнее – вифинский язык. Важно подчеркнуть то обстоятельство, что латинская (или римская) теория приписывается Длугошем литовскому, а греческая – прусскому языку.

**Теория четырехчастного языка.** В своем трактате "Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in eis" (1517)<sup>3</sup> польский хронист Я. Меховит писал: *Præterea linguagium Lithuanicum est quadripartitū, primum linguagium est Iaczuingerum, ut horum qui circa castrum Drohicin inhabitarunt, & pauci superfunt. Alterum est Lithuanorum & Samagitharum: Tertium Prutenorum. Quartum in Lothua teu Lothihola, id est, Livonia, circa fluuium Dzuina, & Rigam ciuitatem. Et horum quanquam eadem sit lingua, unus tamen non plene alterum intelligit, nisi cursiuus et qui uagatus est per illas terras. Habuit hoc linguagium*

<sup>3</sup> Русское переиздание трактата подготовил С.А. Аннинский [21].

*quadripartitū...* [22]. По мнению Меховиты, *linguagium Lithuanicum quadripartitum* пришел из Италии. Этим он объясняет и то, что в нем можно встретить некоторые итальянские слова [(h)abet nonnulla uocabula Italica in fuo fermone).

Из многих аспектов, присутствующих в этом отрывке, выделю только лингвистические (подробнее см.: [23]). Необходимо отметить, что термин "*linguagium Lithuanicum quadripartitum*" должен пониматься как гипероним, т.е. обобщающее название, которое обозначает язык, являющийся одновременно единым и четырехчастным (*quadripartitum*). Хотя язык и один, как утверждает Меховит, он все же неоднороден, так как сюда включаются также и ятвяжский, литовский и жемайтский, прусский и латышский языки. Кажется даже, что человеку трудно объясняться в этом ареале "четырёхчастного языка", если он не жил какое-то время в разных его регионах (*nisi curfuius et qui uagatus est per illas terras*). Все четыре языка относятся к одному языку или, иначе говоря, четыре связанных между собой языка составляют языковое единство. Нельзя не отметить, что *linguagium Lithuanicum quadripartitum* вовсе не совпадает с *linguagium Lithuanorum* (литовским языком). Сегодня мы бы назвали это сформулированное Меховитой языковое единство термином "балтийские языки", введенным лишь в XIX в. немецким языковедом Нессельманом.

**Полулатинская и неолатинская теории.** Описанная выше латинская теория была особенно популярна среди так называемых латинизаторов из Вильнюса. Представитель этого культурного течения Михайло Литовец (Вацловас Миколайтис) написал в 1550 г. "*Tractatus de moribus Tartarorum, Lituanoorum et Moscovitarum*", изданный частично лишь в 1615 г. в Базеле [24]. В нем можно найти и новаторскую латинскую версию<sup>4</sup>. Рассуждения Михайло Литовца об идентичности латинского и литовского языков направлены на то, чтобы доказать первичную тождественность и преемственность двух языков. Не случайно Михайло Литовец утверждает, что *Lituanii ab Italis orti*. В отличие от Длугоша (и некоторых других авторов литовского происхождения) он обосновывает этническую тождественность "полулатинским" происхождением литовского языка: *Quod ita esse liquet ex sermone nostro semilatio et ex ritibus Romanorum uetustis* [24. S. 23]. Следовательно, "полулатинский" говор литовцев и римские обычаи доказывают, по мнению Михайло Литовца, что эти два народа отождествляемы. Но наиболее современным аргументом в рассуждениях Михайло Литовца было то, что он обильно пользовался сравнительным языковым материалом, а именно – привел 74 латинских слова (которые он, кстати, называет *Verba Lituanica*) и заявил, что "*idem significant Lituano sermone quod & Latino*" [24. S. 24]. Вероятно, не лишне еще раз повторить, что этот аргумент Михайло Литовца можно оценивать уже как первый росток научного сравнительного метода.

Со взглядами Михайло Литовца соглашались и другие латинизаторы из Вильнюса. Здесь нужно упомянуть еще по крайней мере Агрипу, который оригинальным образом интерпретировал отношения между литовским и латинским языками [28]. Теория Агрипы состояла в следующем: литовский язык когда-то был латинским, о чем свидетельствует большое количество слов; литовский и возник подобно тому, как из латыни возник итальянский [29. S. 63]. Следовательно, по мнению Агрипы, литовский можно считать "новолатинским" языком, подобно итальянскому, испанскому и др.

**Полемика об использовании рутенского и латинского языков на территории ВКЛ.** Трактат Михайло Литовца важен также потому, что в нем описана реакция литовцев на употребление рутенского языка в ВКЛ: [...*cum*] *idioma Ruthenum alienum fit à nobis Lituanis, hoc est, Italianis, Italico sanguine oriundis*. С неодобрением отзываясь Михайло Литовец и о том, что в гимназиях ВКЛ используются *litteras Moscouiticas* [24. S. 23]. Но

<sup>4</sup> Первым из ученых на этот трактат обратил внимание Фортунатов [25]; см. также: [26]. Переиздание трактата см.: [27].

с еще большим неодобрением отозвался об этой проблеме его единомышленник, вильнюсский войт Аугустин Ротунд, особенно в предисловии к переводу второго Литовского статута [30]. Ротунд тоже упоминает о теории о происхождении литовцев от римлян, восхваляет совершенство латинского языка и призывает восстановить его употребление в общественной жизни и даже в быту. Далее он предлагает употреблять латынь чаще, чем рутенский язык, на всех уровнях. Вместе с тем Ротунд заботится о том, чтобы сократить письменное употребление рутенского, ибо, по его мнению, этот язык, будучи несовершенным и обманчивым, употребляющимся только в ВКЛ и москowlянами, является варварским и общим для врагов литовцев. Особенно жалуются Ротунд на то, что законы в ВКЛ написаны по-рутенски (*leges Russice scriptae*), а не по-латински; это вызывает огромное количество недоразумений, поскольку рутенский язык ненадежен в судебных делах (подробнее см. [31]).

Итак, согласно взглядам Михайло Литовца и Ротунда, лингвистическая аргументация должна была одновременно возвысить латинский и принизить рутенский языки. Для них заявление об идентичности латинского и литовского было равнозначно утверждению более высокого статуса литовского по сравнению с рутенским. Следовательно, их языковые, частично даже социолингвистические, рассуждения были направлены против использования рутенского языка в ВКЛ.

Дальнейшим направлением исследований может стать терминология в трудах вильнюсских латинизаторов (в особенности слово *litterae*, т.е. "буквы"), типичная для славянской православной традиции<sup>5</sup>. Это позволяет выдвинуть предположение о том, что можно искать и другие связующие звенья между литовскими и рутенскими мыслителями-языковедами на территории Литвы<sup>6</sup>.

После анализа произведений соответствующих авторов стало возможным установить, что уже в эпоху Возрождения существовал целый ряд довольно широко распространенных теорий о происхождении балтийских языков и об их родственных отношениях с другими (не обязательно соседними) языками. Лишь руководствуясь принципами лингвистической историографии можно определить, каким было соотношение между различными теориями в ту или иную эпоху, и проследить дальнейшее развитие и судьбу каждой отдельной теории.

Теория "четырёхчастного языка" Меховита, согласно которой балтийские языки воспринимались как единая и отдельная семья языков, все же не была тогда господствующей. Однако позднее новаторская теория Меховиты нашла своих сторонников в лице Лоренцо Херваса и Пандуро, а точнее – в его произведении "Saggio pratico delle lingua" [33]. Испанский иезуит "почувствовал" современность лингвистической теории Меховита и снова попытался отделить балтийские языки от славянских и выделить их в особую группу [34]. Более популярной среди интеллектуалов ВКЛ должна была быть латинская теория с ее вариантами.

Сказанное выше показывает, что пришло, наконец, время для того, чтобы старые лингвистические теории, малоизвестные в балтистике, нашли достойное отражение в работах по лингвистической историографии<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Об этом писал Струминский [32].

<sup>6</sup> Кстати, если бы данная гипотеза подтвердилась, это означало бы, что возникновение проблемы рутенского языка, традиционно берущей начало с полемического произведения П. Скарги "O jedności Kościoła Bożego..." (Vilnius, 1577), нужно было бы отодвинуть во времени назад – в первую половину XVI в.

<sup>7</sup> Они не упоминаются ни у Робинса [35], ни у Лепски [36], ни у Кернера-Эшера [37], ни где-либо еще.

## SPISOK LITERATŪRY

1. *Lebedys J., Palionis J.* Seniausias lietuviškas rankraštiniis tekstas // Lietuvos TSR Aukštųjų Mokyklų Mokslo darbai. Bibliotekininkystės ir bibliografijos Klausimai. 1963. S. 109–135.
2. *Narbutas Sigitas.* Lietuviška marginalija 1530 m. Homilijose // Kultūros Barai. 1995. S. 56–59.
3. *Narbutas Sigitas.* Lietuviški iraišai šešioliktojo amžiaus įnygose // Gimtoji kalba. 1997. 1. S. 357.
4. *Narbutas Sigitas.* Zinkevičius Zigmas, Lietuviškos glosos 1501 m. mišiolė // Baltistica. 1989. Priedas 3-2. S. 325–341.
5. *Jovaišas A.* Kuo pradėti lietuvių literatūros istorija? (Kvietimas diskutuoti) // Metraščiai ir kunigaikščių laiškai, Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius, 1996. Kn. 4. S. 9–21.
6. *Dini P.* Dėl baltų kalbotyros istoriografijos Renesanso paleokomparatyvizmo laikotarpiu // Baltistica. 1997. 32–2. P. 221–230.
7. *Dini P.* Historiographia Linguistica Baltica (Напоминание о позабытой области исследований) // Балто-славянские исследование (в печати).
8. *Dante Alighieri.* De vulgari eloquentia. 1304.
9. *Rada Jiménez de.* De rebus Hispanix. 1243.
10. *Poza André de.* De la antigua lengua, poblaciones, y comarcas de las Españas. Bilbao, 1587.
11. *Gilb.* Genebrardi theologi parisiensis divinarvm hebraicarvmqve literarvm professoris regii Chronographie libri qvatvor... Parisiis, 1580.
12. *Scaligerus Julius Caesar.* Ios. Ivsti Scaligeri Ivlii Caesaris a Bvrden filii Opvscvla varia antehac non edita. Parisiis, 1610.
13. *Piccolomini Aenea Sylvius [Pio II].* Historia... iu pii secundi Pontificis Maximi de Rebus europeis quam Cardinalis condidit // Codex Octaviani Ubaldini, Urb. Lat., 508, Inkunbel des Archivs des Vatikans.
14. *Sabellicus.* Rapsodiae historiarum enneadum ab urbe condita. Venetiis, 1498–1504. [= Opera in duos digesta tomos. Basileae, 1538].
15. *Volaterranus Rafael Maffei.* Commentariorum Urbanorum octo et triginta libri. Roma, 1506.
16. *Ioannis Crassinii Polonia.* Ad Serenissimvm, et Potentißimum, Henricum primû ValeSium, Dei gratia vtriusq; Polonix Regem. Bononix, Apud Peregrinum Bonardum, Venia ab Superioribus Conceffa. 1574.
17. *Dini P.* Zur slavischen Auffassung des Baltischen. Von Aenea Sylvius bis Crassinius, POLYTROPON // К семидесятилетию Владимира Николаевича Топорова. М., 1997. С. 186–201.
18. *Đługosz Jan.* Historia Polonica Iannis Đługossi seu Longini... Dobromili, Szelig, 1615.
19. *Dini P.* Jan Đługosz und die baltischen Sprachen. Baltische Sprachen und Kulturen in der Renaissance // Материалы XXVIII междузовой научно-методической конференции... Секция Балтистики 10–12 III 1998. Тезисы докладов. СПб., 1998. С. 15–16.
20. *Đługosz Jan.* Joannis Đługossii seu Longini Canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII. Cracovix, 1876. Т. III, libri IX–X.
21. *Меховский М.* Трактат о двух Сарматиях. М.; Л., 1936.
22. *Miechowita [Maciej z Miechów].* Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et le contentis in eis. Cracovix, 1517. [= Scriptores Rerum Polonicarum, I].
23. *Dini P.* Ketveriopos kalbos (linguagium Lithuanicum quadripartitum) samprata ir Renesanso baltų kalbotyros istoriografijos kontekstas // Metmenys, spausdinama.
24. *Michalo Litanus.* De moribus Tartarorum, Litanorum et Moschorum. Basilea, 1615 [1550]. [= Jurginis, 1966, Apie Totorių, Lietuvių ir Maskvėnų papročius. Vilnius, 1966].
25. *Fortunatov F.* Miscellanea, Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung, 1876. Т. 8. S. 113.
26. *Pisani V.* Rom und die Balten // Baltistica. 1983. 4(1). P. 4–9.
27. *Mykolas Lietuvis.* Apie totorių lietyvių ir maskvėnų papročius / Vertė Ignas Jonynas, Juozas Jurginis. Vilnius, 1966.
28. *Agrippa W.* Oratio funebris de illustrissimi principis et domini Jahannis Radziylli. B.v., 1553.
29. *Ročka M. V.J.* Agripa – kultūros veikėjas ir literatas // Lietuvos TSR Aukštųjų Mokyklų Mokslo darbai. Bibliotekininkystės ir bibliografijos Klausimai. 1967. 10. S. 45–68.
30. *Rotundus Augustinas.* Pratarimė // Antrasis Lietuvos Statutas [perspausd. Archiwum Komisij Prawniczej. Kraków, 1990. Т. 7. S. XV–XXII.

31. *Dini P.* Ruski e latino / lituano secondo i "latinizzanti" di Vilnius // *Res Balticae*. 1991. 1. S. 141–156.
32. *Struminskyj B.* The Language Question in the Ukrainian Lands before the Nineteenth Century // *Aspects of the Slavic Language Question*. New Haven, 1984. T. 2. P. 9–47.
33. *Hervás y Panduro* Saggio Pratico delle lingue. Cesena, 1787.
34. *Dini P.* Der Werdegang der Auffassung über die baltischen Sprachen bei Lorenzo Hervás y Panduro am Vorabend der vergleichenden Sprachwissenschaft // *Indogermanische Forschungen*. 1997. 102. S. 261–294.
35. *Robins R.H.* A Short of Linguistics. London; New York, 1990.
36. *Giulio L.* Storia della Linguistica. Bologna, 1990. T. I–III.
37. *Koerner E.F.K., Asher R.E.* Concise History of the Languages Sciences from the Sumerians to the Cognitivists. Oxford; New York; Seoul; Tokio, 1995.





© 1999 г. Ю.А. ЛАБЫНЦЕВ

## ДРЕВНЕЛИТОВСКАЯ КИРИЛЛОВСКАЯ ПИСЬМЕННАЯ ТРАДИЦИЯ И "КАТЕХИЗИС" М. МАЖВИДАСА

*Полска квітнет лациною,*

*Литва квітнет русчиною,*

*Без той в Полсці не перебуєш,*

*Без сей в Литві блазнем будєш...*

Запись Яна Казимира Пашкевича  
на списке Литовского Статута 1529 г.,  
сделанная в 1621 г.

Многоязычие культур и общей культуры народов Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского создавало на протяжении нескольких веков уникальную коммуникативную ситуацию в самом центре Европы.

В начальный период существования Великого княжества Литовского здесь доминировала кирилловская письменность, кирилловская литература, творцами которой были и многие литовцы преимущественно из числа представителей элитарных слоев. Некоторая часть литовцев тогда же принимает православие, постепенно складывается и своего рода корпус собственной литовской кирилловской книжности, вопрос о необходимости выявления и детального изучения которой давно назрел.

Начиная с XIII в. несколько десятков литовских князей исповедовали православие, среди них были и монашествующие, в том числе основатели православных монастырей. Немало литовцев стали почитаться Православной Церковью в качестве святых; среди них есть и женщины<sup>1</sup>.

Густынская летопись под 1246 г. сообщает, что великий князь Миндовг (Миндаугас) принял христианство "от востока со многими своими бояры" [2], и если даже это известие не до конца верно, оно точно передает тенденцию движения в те времена в вероисповедной сфере, фиксирует процесс рецепции частью литовской феодальной элиты восточнославянской христианской культуры. Свидетельство тому и факт пожизненного исповедания православия сыном и дочерью Миндовга, который сам в конце жизни вновь обратился к вере предков, стал язычником, впрочем, вполне возможно, достаточно хорошо владевшим не только славянским языком, к чему

Лабынцев Юрий Андреевич – д-р филол. наук, директор Центра белорусоведческих исследований Института славяноведения РАН.

Исследование выполнено благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 98-04-06057а.

<sup>1</sup> Например, преподобная Харитина Новгородская, "княжна Литовская", скончавшаяся 5 октября 1281 г. [1].

постоянно побуждали как внутривосточные, так и внешнеполитические обстоятельства, но и неплохо знавшим церковнославянскую литературу. Почти легендой стал в истории литовский князь Довмонт (Даумантас), причисленный к лику православных святых с именем Тимофей (†20 V 1299). Третий века княжил он во Пскове, куда прибыл в середине 1260-х годов вместе со многими литовцами, так как "побишася Литва межю собою" [3]. Правление Довмонта – время расцвета Пскова как политического, экономического и культурного центра. До сих пор псковичи называют одну из центральных частей города Довмонтовым городом. Рассказы об этом православном литовском князе вошли во многие летописи, и даже существует историография этих свидетельств [4].

Православие, православная культура, кирилловская письменность не были чуждыми и семье великого князя Гедимина (Гедиминаса) – две его жены и дети были православного исповедания. Подобная картина наблюдалась и в семье сына Гедимина Ольгерда (Альгердаса) [5], который, по некоторым данным, первоначально, вслед за своей женой Марией, витебской княжной, исповедовал православие [6. С. 84]. В его княжение начинается складываться культ трех виленских мучеников, "родом Литвы", Иоанна, Антония и Евстафия (†14 I и 24 V 1347), широко почитаемых ныне во всем православном мире.

Знакомство и усвоение кирилло-мефодиевской культурной традиции не минуло и знаменитого в истории Европы великого князя литовского и короля польского Ягайло (Йогайла), сына Ольгерда и тверской княжны Юлиании. Это обстоятельство впоследствии, видимо, очень способствовало продвижению православной культуры в ее восточнославянской версии на земли собственно Королевства Польского, яркие примеры чего мы и по сей день можем видеть в средневековых фресковых росписях православных восточнославянских мастеров в Кракове и Люблине [7]. Примечательно, что росписи эти содержат большое число кирилловских текстов, в целом еще весьма мало изученных.

Распространение католицизма в Великом княжестве Литовском, систематически начатое в 1386–1387 гг., не было явлением одномоментным, растянулось на десятилетия и даже столетия. Судя по многим данным, решение великого князя Ягайло о принятии католичества не встретило значительной поддержки, о чем прямо пишут польские хронисты. Это не должно удивлять, ибо тогда половина жителей Вильнюса исповедовала православие, православными были и многочисленные братья Ягайлы, которые, как пишет Ян Длугош, "...не могли довести до повторения крещения", "так как они давно приняли крещение по греческому обряду" [6. С. 372].

Православие и православная культура, имевшие в Великом княжестве Литовском широкое распространение не только среди абсолютно преобладавшей части населения государства – восточных славян, исповедовавших православную веру, но и литовцев, сохраняют свои позиции и во времена Мартинаса Мажвидаса, в середине XVI в. Именно тогда протестант Симон Будный писал своим единоверцам в Швейцарию: "...Нам необходимо бороться с вероучением Греков, в руках которых находятся церкви на Руси" [8]. А вот что сообщает примерно тогда же о религиозной ситуации в Великом княжестве Литовском папский нунций Бернард Буонджованни: "Большая часть его (населения. – Ю.Л.) греческого обряда; кое-где, а именно на Жмуди, можно еще встретить пребывающих в темноте язычества, остальные – это католики или еретики, а более всего этих последних" [9]. Стоит ли говорить после этого о причинах глубокого укоренения кирилловской письменной культуры во всем Великом княжестве Литовском, о ее по сути государственном характере, когда, как подчеркивалось в Литовском Статуте 1588 г., "... писарь земский маеть по руску литерамы и словы рускими вси листы, выписы и позвы писати, а не иным езыком и словы" [10].

В сохранении и развитии кирилловской письменности, практически общей для всего Великого княжества Литовского вплоть до XVII в. включительно, весьма значима роль самого государства, в котором эта письменность имела как фактические,

так и юридические признаки государственной. Не случайно поэтому кирилловская письменная традиция не является чуждой не только для предшественников и современников М. Мажвидаса, но и для их образованных потомков более позднего периода. Об этом хорошо написал знаток духовной культуры Центральной и Восточной Европы Е.С. Бандке: "Jagiellończykowie wszyscy, aż do Zygmunta Augusta, po Rusku w Litwie pisali, przywileje i nadania dawali... Kazimierz Jagiellończyk IV prędzej imiał po Rusku, niż po Polsku" ("Все Ягеллоны, включая и Сигизмунда Августа, по-русски в Литве писали, привилегии и дарственные давали... Казимир Ягеллончик IV гораздо лучше писал по-русски, нежели по-польски") [11]. Современник М. Мажвидаса Михалон Литвин (Михайло Литовец) писал: "Мы изучаем московские письма (litteras Moscoviticæ), не несущие в себе ничего древнего, не имеющие ничего, что бы побуждало к доблести, поскольку рутенский язык (idioma Ruthenuva) чужд нам, литвинам, то есть италианцам (Italianis), происшедшим от италийской крови" [12]. В последнем, естественно, М. Литвин ошибался, а первое знал определенно. К тому времени кирилловская традиция была представлена в Великом княжестве Литовском огромным корпусом письменных памятников, среди которых выделялись летописи, правовые сочинения, колоссальное число деловых и канцелярских документов, наконец, собственно литературные произведения как на церковнославянском языке и его вариантах, так и на языках, которые ныне часто называют старобелорусским и староукраинским или же белорусско-украинским литературным языком того времени. Тогда же позднее, в основном в среде польских исследователей и сейчас, язык этот именуют "русским".

Именно на нем была составлена в 1510 г. опись одной из первых собственно литовских библиотек, принадлежавшей Альберту Гаштольду (Альбертасу Гоштаутасу), будущему вильнюсскому воеводе и канцлеру Великого княжества Литовского, покровителю летописания, возможному инициатору создания "Хроники" Быховца [13–15]. В его описи преобладают "русские" книги, вслед за ними идут "латинские", польская книга всего одна [16]. Интересно отметить, что дошедшие до нас написанные в Литве первые польские тексты были созданы более чем десятилетием позже, возможно, даже еще позднее, чем первые сохранившиеся тексты на литовском языке [17]. "Из латинских рукописных книг XIV–XVI вв., – подчеркивает известный вильнюсский историк Л. Владимировас, – в Литве до нас дошло очень немного, а о тех, которые сейчас хранятся в наших библиотеках, архивах и музеях, невозможно с уверенностью сказать, были ли они переписаны на месте или привезены из-за границы" [18].

Вместе с тем число сохранившихся кирилловских рукописей, созданных в Великом княжестве Литовском, значительно. Несомненно есть среди них и те, которые написаны литовцами. В этой связи внимание вновь и вновь привлекает Лаврышевский монастырь, основанный в XIII в. и изначально ставший местом пострижения православных литовцев, бывший по крайней мере в течение XIII–XIV вв. и центром кирилловской книжной культуры, центром кирилловской письменности, в создании которой активное участие литовских православных монахов несомненно. Стоит упомянуть, что с Лаврышевским монастырем тесно связана судьба знаменитого литовского князя Войшелка (Вайшвилкаса), сына Миндовга [19], а также других представителей литовской знати [20]. По сообщению известного русского церковного историка митрополита Макария, "Воишелг... заботился о просвящении ее (Литвы. – Ю.А.) христианством и для этого вызывал из Новгорода и Пскова священников, знакомых с литовским языком" [б. С. 83]. О Лаврышевском монастыре как о центре собственно литовской православной культуры сообщали и латиноязычные хроники, часто основываясь на данных древних неизвестных ныне церковнославянских манускриптов [21].

Не исключено, что ранним примером кирилловских книг, которые не только читались и почитались, но и создавались литовцами, может быть и пергаменное Лаврышевское Евангелие, написанное в монастыре не позднее начала XIV в. [22–24]. На его листах сохранились записи князя Михаила Гедеминовича (Кориата, Карийотаса)

1329 г. [22. Л. 176об.] и более поздняя запись великого князя Дмитрия Ольгердовича (Корибута, Карибутаса): "Се аз великы князь Дмитрий Олгирдович..." [22. Л. 1]. Исследователи и по сей день пытаются трактовать эту рукопись в связи с судьбой князя Войшелка, в частности через интерпретацию ее миниатюр, видя на некоторых из них своего рода "идеальный образ властителя-монаха" [25]. Как бы то ни было, бесспорно одно – эта рукопись, как никакая другая, может быть связана именно с литовской традицией кирилловской книжности раннего периода, традицией, вычленив которую из общего ряда кирилловской письменности Великого княжества непросто. Перед нами памятник книжности, общей как для восточнославянского населения государства, так и для православных литовцев. Вследствие этого Лаврышевское Евангелие – образец той, видимо, достаточно численной, литовской кирилловской письменности XIII–XV вв., которая совершенно органично вливалась в единое, тогда преимущественно славяноязычное, литературное пространство Великого княжества Литовского.

Появление в этом литературном пространстве первой книги на литовском языке, "Катехизиса" М. Мажвидаса, прямо ориентированного на дальнейшую рецепцию в народной среде, т.е. имевшего по сути народный характер, со всей очевидностью обозначило не только особый период в развитии литовской культуры, но и начало нового этапа в культурном развитии всего Великого княжества Литовского.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Настольная книга священнослужителя. М., 1978. Т. 2. С. 163.
2. Полное собрание русских летописей. СПб., 1843. Т. 2. С. 341.
3. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2, ч. 2. С. 239.
4. *Охотникова В.И.* Повесть о Довмонте: Исследования и тексты. Л., 1985.
5. *Stadnicki K.* Olgierd i Kiejstut. Lwów, 1870.
6. *Макарий*, митрополит. История Русской Церкви. М., 1995. Кн. 3.
7. *Różycka-Bryzek A.* Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego. Warszawa, 1983.
8. *Halecki O.* Zgoda sandomierska 1570 r. Warszawa, 1915. S. 22.
9. *Kosman M.* Zmierzch Perkuna czyli ostatni poganie nad Bałtykiem. Warszawa, 1981. S. 290.
10. Статут Великого княжества Литовского. Вильно, 1588. С. 122.
11. *Bandkie J.S.* Historia drukarni krakowskich. Kraków, 1815. S. 153.
12. *Литвин М.* О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1994. С. 85–86.
13. *Улащик Н.Н.* Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985. С. 74.
14. *Jučas M.* Lietuvos metraščiai. Vilnius, 1973. P. 6–7.
15. Lietuvos metraštis. Bychovco kronika. Vilnius, 1971.
16. *Jablonskis K.* Lietuviu kultura ir jos veikejai. Vilnius, 1973. P. 356.
17. *Lebedys J., Palionis J.* Seniausias lietuviškas rankaštinis tekstas // Bibliotekininkystes ir bibliografijos klausimai. 1964. Т. 3. P. 109–135.
18. *Владимиров Л.И.* Всеобщая история книги: Древний мир. Средневековье. Возрождение. XVII век. М., 1988. С. 79.
19. *Огицкий Д.П.* Великий князь Войшелк (Страница из истории Православия в Литве) // Богословские труды. 1983. Т. 24. С. 171–196.
20. *Мельников А.А.* Путь непечален: Исторические свидетельства о святости Белой Руси. Минск, 1992. С. 139–143.
21. *Kojalowicz A.W.* Miscellanea rerum ad Statum Ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu... Vilnae, 1650. P. 8, 36.
22. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, № 2097.
23. *Friedelówna T.* Ewangeliarz Ławryszewski: Monografia zabytku. Wrocław, 1974.
24. *Щанов Я.Н.* Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. М., 1976. Ч. 1. С. 78–85.
25. *Smorg-Różycka M.* Romans chrześcijański Barlaam i Jozafat w kulturze średniowiecznej Europy. Uwagi o dwóch miniaturach w Ewangeliarzu Ławryszewskim // Slavia Orientalis. 1993. № 1. S. 25.



© 1999 г. М.Ю. ДОСТАЛЬ

## ВСЕСЛАВЯНСКИЙ АСПЕКТ ТЕОРИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ

О теории официальной народности много писалось в российской и зарубежной литературе [1–13]. Одни рассматривали ее в основном как "государственную доктрину российского самодержавия" [10. С. 19], другие – как "государственную форму национальной идеологии" [8. С. 15], третьи – как программу укрепления государственного образования [13. С. 175]. Думается, что все по-своему правы, так как эта доктрина многолика, но мы попытаемся рассмотреть ее прежде всего как одно из первых проявлений русской национальной идеи, сформулированных на государственном уровне.

В этой доктрине, как в долгосрочном проекте, были определены, хотя и в самых общих чертах, основные моменты, "начала", которые стали в дальнейшем предметом обсуждения и развития ее главных идеологов и поборников. Доктрина возникла в период национально-патриотического движения славянских и неславянских народов Европы, независимо от него и в то же время как своего рода "русский державный ответ" романтическому национализму этих народов. Она безусловно опиралась на традиции официального российского государственного патриотизма как продолжение известного ратного призыва: "За Веру, Царя и Отечество". По всей вероятности, при ее создании были учтены и идеи, выраженные в произведениях российского историко-графа и писателя Н.М. Карамзина. Последний в "Записке о древней и новой России" высказал мысль о том, что основой государственного бытия России может быть только единство монархии, православной веры и национальной самобытности [8. С. 11]. В этом смысле "кодификатор" и творец теории, министр народного просвещения граф С.С. Уваров (1786–1855) не придумал никаких новых элементов государственного патриотизма; он только употребил другие синонимы названных понятий и углубил их содержание в соответствии с новыми историческими условиями.

Потребность создания теории диктовалась необходимостью сформулировать и выдвинуть в противовес обанкротившемуся "александровскому космополитизму", идейным брожениям и растерянности русского общества после подавления выступления декабристов и польского восстания 1830–1831 гг. какой-то ясной и определенной, объединяющей все сословия государственно-патриотической доктрины, которая могла бы укрепить существующий, переживший тяжелые потрясения режим и более того – воспрепятствовать его дестабилизации в дальнейшем [10. С. 19–27]. С.С. Уваров прямо указывал в 1843 г.: "Посреди быстрого падения религиозных и гражданских улучшений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, надлежало укрепить отечество на твердых основаниях..., найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие" [14]. Не случайно поэтому "охранительность" теории стала ее "визитной карточкой". Теория защищала не просто монархию, но именно ее самодержавные устои, освященные

официальным православием, доказывала их незыблемость и благодетельность для русского народа. Другим новшеством теории была апелляция к народности как отклик на определенный подъем национального самосознания в русском обществе, начиная с 1812 г. В этом смысле доктрина создавала Николаю I имидж "национального императора", и он наружно (не отказываясь от своих династических абсолютистских интересов) принял его как противовес революционному влиянию идей декабристов, выступавших не только за либерализацию государственного строя, но и предлагавших новое видение национального патриотизма. Теория стала идеологическим олицетворением способа самодержавного правления Николая I и его мышления и потому после его смерти в 1855 г., в эпоху подготовки и реализации буржуазных по сути реформ нуждалась в коренном переосмыслении. Все дальнейшие ее модификации уже не сохраняли ее специфическую индивидуальность [10. С. 32–36; 11].

Но вернемся к сути доктрины. Ее не случайно можно назвать одним из первых проявлений русской национальной идеологии. Подъем национального самосознания в русском обществе нашел многоликое выражение. Одним из "ликов" стало новое обсуждение в 30–40-х годах XIX в. "старого" вопроса о дальнейших путях развития России, характере ее цивилизации в месте между Западом и Востоком. Ответы предлагались разные. В общественном сознании это отложилось как споры запаников и славянофилов. Но еще ранее один из ответов сформулировал министр народного просвещения граф С.С. Уваров. Он определил "спасительные начала" для России, "без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить", а именно: православие, самодержавие, народность. В их градации главное место безусловно принадлежало двум первым атрибутам. "Русский, преданный отечеству, – утверждал С.С. Уваров, – столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего **Православия**, сколь и на похищение одного перла из венца монахова. **Самодержавие** составляет главное условие политического существования России" [15]. Уваров не скрывал, что целью его теории было создание "умственных плотин" против проникновения в Россию революционных идей из Западной Европы. Исходя из этих соображений, он и предлагал для России путь "восточной" самобытности, опираясь на собственные устои.

Если два первые начала провозглашались незыблемыми, то в отношении к народности признавалось право на развитие, "соглашение древних и новых понятий" при сохранении неприкосновенным "святых наших народных понятий". Именно этот допуск разной трактовки понятия "народность" позволяет говорить о некоторой эволюции и нюансах развития теории в консервативной общественной мысли 1830–1850-х годов. Прежде всего это касается трактовки "корней" русской народности, которые искали тогда, по обычаю времени, только в "племенном" родстве (без учета многовекового полиэтнического окружения).

Теория официальной народности (далее ТОН) не получила в обществе всеобщего признания, на которое рассчитывал ее творец. Она считалась официальной и потому почти насильно насаждалась в ведомстве народного просвещения. Либеральная русская публицистика ее по возможности обходила молчанием, радикальная (в лице В.Г. Белинского, А.И. Герцена) – прямо или косвенно оспаривала ее основные постулаты, но все высмеивали ее казенное лицемерие. Общее мнение выражено в "Записках" С.М. Соловьева, который утверждал, что С.С. Уваров придумал "начала" триады: "православие, – будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие, – будучи либералом; народность, – не прочитав в свою жизнь ни одной русской книги, писавши постоянно по-французски или по-немецки" [16]. Откровенную поддержку теория находила только у консервативных ревнителей режима, среди которых следует отметить издателей "Северной пчелы" и ряда других журналов Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча, издателя "Москвитянина" М.П. Погодина и редактора "Маяка" С.А. Бурачека.

Издатель петербургского журнала "Маяк (1840–1845)", публицист, инженер-кораблестроитель по специальности, С.А. Бурачек (1800–1876) вступил на литературное поприще с "благородной" целью "сделать великое Отечество наше всемирным учили-

щем истинного богопочитания и благочестия, убежищем мира и спасения, а эти великие события непременно исполнятся, ибо наша Россия именно к этому призвана и 1000 лет готовилась" [17]. Приняв безоговорочно главные постулаты теории официальной народности, идеологи журнала даже позволяли себе некоторую критику режима справа, призывая ужесточить контроль за соблюдением "истинного богопочитания и благочестия", всех православных обрядов не только в низших, но и в высших слоях общества, чтобы предохранить Россию от влияния "тех разрушительных начал европейской цивилизации, которые произвели на Западе столько ужасных явлений, поколебав в самом основании религию христианскую" [18]. Приветствовались "национальное" направление политики Николая I, "мудрого и добродетельного государя", самодержавные устои его правления [19–21]. Народность определялась как "проявление права и дарований Божиих народу; у каждого народа своим образом", тем самым, в отличие от Уварова, здесь ее связь с самодержавием разрывалась. И далее провозглашалось совсем в духе славянских "будителей": "Народ счастлив, пока растит свою жизнь в пределах своей народности. Народ слабеет и падает, когда, забывая и презирая свои, увлекается чужими стихиями народности, ему несродными, ему не принадлежащими" [22]. Отсюда следовал безоговорочный вывод о том, что Россия в целях прогресса и процветания должна идти только собственным, самобытным путем: "Стихии нашей народности превосходны и божественны..., их не только не должно, но и не можно изменить, не разрушая целостности России" [23].

Для доказательства этого положения редактор "Маяка" привлек авторов, которые в духе романтической историографии стремились облагородить "славянские корни" россиян, удревнить их происхождение. Если верить публикациям "Маяка", то почти все великие события древности были связаны со славянами, научные и великие географические открытия, известные европейские династии и полководцы, религиозные реформаторы вели свое происхождение от славян. Славяне в истории проявили себя как самые смелые, сильные, предприимчивые и культурные народы. И все это было забыто по наветам европейской (немецкой) историографии – вот главные заключения авторов журнала. Крайности "Маяка" разоблачал не только Белинский, но даже приверженцы ТОН [24]. "Великий критик" называл "маяковцев" ультраславянофилами. Черты сходства безусловно между ними имелись (например, соединение народности с религией, романтические представления о славянских древностях А.С. Хомякова и др. [25]), но все же охранительное направление, следование линии официального православия и приверженность самодержавному режиму Николая I не позволяют отрывать "Маяк" от сторонников ТОН.

Редактор и издатель журнала "Москвитянин" (1841–1856), известный историк М.П. Погодин (1800–1875) провозгласил себя верным "направлению, среднему между восточным и западным, между так называемыми славянофилами, с *наклонностью к ним* (выделено нами. – М.Д.), и западниками" [26]. Он был одним из идейных вдохновителей и безусловным открытым приверженцем ТОН, что нередко подрывало его общественный престиж. В своем обосновании особого предназначения России и ее великой будущности он, как и многие в то время ученые и общественные деятели Европы и России (в том числе и Уваров [12. С. 73]), исходил из основных постулатов романтической философии раннего Ф. Шеллинга. Согласно этому миропониманию, каждый народ, когда настанет его время, определяемое волей Проведения, может выйти на авансцену мировой истории и внести свой неоспоримый вклад в сокровищницу мировой цивилизации, при условии, что он осознает и разовьет в себе собственные национальные "стихии", откажется от бессмысленного подражания иностранному. Немецкие философы, отводя последовательно ведущую роль в мировой истории древним азиатским народам, грекам, римлянам, приписывали ее в Новое время, естественно, романским и германским народам Европы. Ведущие деятели славянского национального возрождения, увидели в этом дискриминацию и создали теорию о великом предназначении славянских народов и России в современности (идея славянской взаимности Я. Коллара, панславизм и др. [6. С. 61]).



М.П. Погодин, ознакомившийся с трудами своих славянских коллег и поддерживавший впоследствии с ними тесные связи, довольно быстро усвоил вывод о том, что ныне "пришел черед" славянских народов и России выступить на авансцену мировой истории. Ему оставалось только определить самобытные "стихии" русского и других славянских народов. В своих "Исторических афоризмах" (часть которых была напечатана уже в 1827 г.), лекциях по всеобщей и русской истории в Московском университете, прочитанных на рубеже 1830–1840-х годов [27], он начал обосновывать развитый впоследствии тезис о специфических особенностях русской и славянской истории, ее противоположности истории народов Западной Европы (отталкиваясь от общепринятой тогда с подачи французских историков-романтиков теории создания всех европейских государств путем завоевания). Свои воззрения он впервые сформулировал в лекции "Взгляд на русскую историю", прочитанной в присутствии Уварова в сентябре 1832 г. "Вся история наша, – говорил Погодин, – до малейших общих подробностей представляет совершенно иное зрелище: у нас не было укрепленных замков, наши города основаны другим образом, наши сословия произошли не так, как прочие европейские..." [28. С. 8]. Из этого следовал вывод вполне в духе "Маяка": "собственные наши плоды" так хороши и согласованы с Промыслом Божиим, что "российская история может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия, самую верною и надежною" [28. С. 16].

Лекция Погодина произвела самое благоприятное впечатление на Уварова. Ему оставалось только к "охранительной миссии" русской истории, противоположной западноевропейской, присоединить определение самобытных русских "стихий", которые составляют ее своеобразие. Их он и почерпнул из арсенала государственно-патриотических идей. В первом номере "Журнала Министерства народного просвещения", начатого в 1834 г., С.С. Уваров впервые обнаружил (высказанные еще в 1832 г. при инспекции Московского университета) основные положения "триады", получившей название теории официальной народности. "Россия, – писал он, – стоит на высокой чреде славы и величия; имеет внутреннее сознание своего достоинства и видит на троне тем же Провидением ниспосланного царя – охранителя и *веры* ее и *народности*. Отжив период безусловного подражания, она лучше своих иноземных наставников, умеет применить плоды образования к своим собственным потребностям, ясно различает в Европе добро от зла: пользуется первым и не страшится последнего, ибо носит в сердце сии два священные залога своего благоденствия, с коими неразрывно соединен третий – *самодержавие*" [29].

Положение о необходимости пользоваться плодами западноевропейского прогресса не в ущерб развитию собственной самобытности Погодин положил, как уже указывалось, в основание программы своего журнала. Не отступал он и от общей "ортодоксальной" конструкции "триады". "Для русского, – писал единомышленник Погодина С.П. Шевырев, – мысль об Отечестве тесно и неразрывно соединена с мыслью о самодержавной власти как необходимом условии его благоденствия. Русские, слава Богу, до сих пор не отделяли в мысли своей понятия о Государе от понятия об Отечестве. Жизнь русского народа всю крепостию корня своего упирается в этом глубоком чувстве, где для него Государь и Отечество – одно" [30]. В то же время не отрицалось, что "без православия или без истинного уважения его, едва ли даже можно быть русским" [31].

В дальнейшем М.П. Погодин и его единомышленники, принимая все элементы "триады", развивали положение о русской "народности" и "племенных" корнях. Здесь можно заметить некоторое противоречие. С одной стороны, Погодин продолжал разрабатывать теорию о специфике русской истории, которую увенчал тезис о склонности Западной Европы к революционным потрясениям и невозможности таковых в России [32]. "У нас не было, правда, рабства, не было пролетариев, не было ненависти, не было гордости, не было инквизиции, не было феодального тиранства, зато было отеческое управление, патриархальная свобода, было семейное равенство, было общее владение, была мирская сходка, одним словом, в среднем веке было у нас то, об

чем так старался Запад уже в новом, не успел еще в новейшем и едва ли может успеть в будущем" [33]. В то же время он не абсолютизировал эти различия, считая мировой исторический процесс единым, но в разных формах проявляющимся, а Россию неразрывной частью Европы [34].

Что касается славянских корней русской народности, то Погодин всегда уделял им особое внимание. Но искал их больше, в отличие от "Маяка", не в прошлом, а в настоящем, объясняя это следующим образом: "Историю славянских племен для объяснения нашей употреблять очень мудроно". "Каков характер, такова и история. Западные славяне окружены были воинственными племенами, а мы мирными" [35]. С молодости он мечтал об объединении славян под эгидой России, панславистом остался и до конца жизни. В виду цензурных ограничений он не мог открыто высказывать свои мысли в печати. Более откровенно они были выражены в записке цесаревичу (1838) и донесениях министру народного просвещения С.С. Уварову (1839, 1842), предназначавшихся Николаю I, позднее – в историко-политических записках. Он стремился представить общую направленность устремлений славянской интеллигенции, ее романтическое русофильство как желание славян во что бы то ни стало соединиться с "матушкой Россией". Его "хрустальной мечтой" было утверждение русского языка в качестве языка общеславянского литературного [36; 37]. Многочисленные аргументы о преданности славян России, а также убеждение в том, что Австрийская и Турецкая монархии находятся в последней стадии разложения и распада и представляют собой, так сказать, "гробы повапленные", М.П. Погодин, а вслед за ним и Ф.И. Гюгчев [38] использовали для обоснования необходимости изменения внешнеполитической линии России, ее опоры не на Священный союз монархов, а на своих "естественных союзников" – славян, т.е. они ратовали по существу за переход ее внешней политики, базировавшейся на феодальном принципе защиты династических интересов, к ориентации на современный той эпохе "принцип национальностей" [8. С. 16].

Долгое время считалось, что провозглашенная Уваровым "триада" даже в николаевскую эпоху не была подвержена каким-либо изменениям и потому анализировалась в статике. Приведенные примеры показывают, что в интерпретациях существовали определенные нюансы ее главных приверженцев. Однако недавно открытые документы показывают, что и сам ее творец, граф С.С. Уваров, тоже пытался внести в свою теорию некоторые коррективы (опубликованы в [9], изложены в [12]). И они как раз были связаны с записками М.П. Погодина и некоторыми дипломатическими осложнениями в отношениях с Австрией и Турцией в 1842 г. Именно тогда Уваров составил на французском языке специальную записку в форме письма министру иностранных дел К.В. Нессельроде под названием "Славянский вопрос", в которой изложил свое понимание последнего. Копия записки была направлена царю.

Уваров выступал против убеждения Нессельроде в том, что ради сохранения дипломатического status quo в Европе необходимы сохранение и поддержка Россией антиславянских режимов в Австрии и Турции. Как и Нессельроде, Уваров заботился об охране самодержавного правления России от угрозы дестабилизации, но в отличие от него не расценивал фантом панславизма только как разрушительное течение. Главным моментом записки Уварова было утверждение, что в славянском вопросе следует видеть две стороны: "революционную", разрушительную и объединяющую, охранительную. К первой он относил "происки революционеров" (главным образом польских эмигрантов и членов тайных обществ), ко второй – культурную и научную деятельность лояльных Габсбургам подвижников славянского национального возрождения и сотрудничество с ними молодых русских славистов, посылаемых за границу возглавляемым им ведомством народного просвещения, а также поддержку Россией православных церквей в Болгарии и Сербии [12. С. 68].

Эту же позицию он изложил еще раз в 1847 г. после "разоблачения" Кирилло-Мефодиевского общества в Киеве [39] в записке царю: "Еще в 1842 году... я писал к графу Нессельроду с ведома Вашего Величества, что славянский вопрос представляет

в отношении к нам две стороны: одну, которую можно употребить на возбуждение умов и к распространению опасной пропаганды, заслуживающей всю кару правительства; другая же сторона сего вопроса содержит святыню наших верований, нашей самобытности, нашего народного духа, имеющую в пределах законного развития неоспоримое право на ближайшую попечительность правительства. И ныне осмеливаюсь повторить то же самое определение: ясно, что вопрос славянский представляется для нас некоторую сложность, но потому и требует осмотрительности" [12. С. 70]. И далее следует положение, ставшее отправной точкой в некоторой эволюции представлений Уварова о сути народности и введенное как эталон в трактовке ТОН в российских университетах. "В истинном, чистом своем значении русское славянство одушевлено приверженностью к православию и самодержавию; все, что выходит из этой черты, не принадлежит к этому славянству: оно или примесь чужих понятий, или игра фантазии, или, наконец, личина, под коей злоумышленные стараются уловить незрелых юношей, увлечь мечтателей неопытных" [12. С. 71]. В циркулярах, разосланных в российские университеты в мае 1847 г., эту мысль Уваров довел до логического завершения, окончательно отделив "русское" от "славянского": "Итак, независимо от общего славянства, в действительности не существующего, а изменившегося в нескольких славянских племенах, мы должны следовать за своими судьбами, свыше нам указанными, и в своем начале, в своей личности народной, в своей Вере, преданности престолу, в языке, словесности, в истории, в своих законах, нравах и обычаях – мы обязаны утвердить живительное начало русского ума, русских доблестей, русского чувства. Вот исконное начало народное и не славяно-русское, а чисто русское, непоколебимое в своем основании – собственно наша народность." [12. С. 74]. Таким образом, от этнически нейтрального определения народности, которое можно толковать так, что русский народ – это прежде всего российские простолюдины, преданные православию и самодержавию, профилософствовав о славянских "племенных" корнях, перед угрозой перевеса революционной, дестабилизирующей составляющей славянского движения, Уваров в конце концов вынужден был пожертвовать и "мирной, объединительной" его "стороной". Новое определение русской народности, не утратив атрибутов православия и самодержавия, приобрело еще и этноисторическое содержание.

Для полноты картины развития ТОН следует упомянуть еще и о Ф.В. Булгарине и Н.И. Грече. Они безусловно приняли уваровскую "триаду" и не раз демонстрировали свою приверженность доктрине. В вопросе о путях развития России они твердо держались западного ориентира, однако сумели избежать некоторых крайностей западничества, присущих ряду отечественных радикалов и либералов. Издатели "Северной пчелы" выступали за оптимальное сочетание в русской культуре достижений западноевропейской "образованности", общемирового просвещения и русского народного начала, причем не в древней, а современной его форме. Если Погодин в "Москвитянине" всегда подчеркивал связь русского и славянского элементов, чего не избежал и Уваров, то Греч и Булгарин по существу эту связь игнорировали, подчеркивая самостоятельность и самоценность русской культуры: "Русская народность не в славянстве, а в русском языке, в русской истории, в остатках русской мифологии, в сказочных песнях и в познании местностей России и русского быта" (цит. по: [7]). Примечательно, что это высказывание относится к 1846 г., т.е. как бы предвосхищает мысли, выраженные в циркулярах Уварова 1847 г.

Революции 1848–1849 гг. расставили последние точки над *i* в теории официальной народности. Из содержания циркуляров видно, что Уварову были известны разные трактовки панславизма в Европе: сближение славян в духовной и культурной сфере или политическое объединение вокруг какого-либо христианского государства (России, Австрии или Польши). Он склонялся к первой трактовке, хотя по некоторым намекам ясно, что ему не были чужды и мечтания о реализации второй [12. С. 72].

Однако угроза революционных потрясений в России, вслед за Европой, сплотила всех охранителей режима вокруг трона и заставила отказаться от панславистских

мечтаний. К тому же сам Николай I считал что объединение славян вокруг России вредит ее интересам. Об этом свидетельствует следующий эпизод. Читая в марте 1849 г. ответы арестованного И.С. Аксакова на вопросы начальника III Отделения А.Ф. Орлова по поводу отречения Аксакова от "панславизма", Николай, в частности, заметил: "И дельно, потому что все прочее – мечта: один Бог может определить, что готовится в дальнем будущем; но ежели бы стечения обстоятельств и привели к этому соединению [славян с Россией. – М.Д.], то оно будет на гибель России" [40]. Тем самым была "высочайше" закреплена "чисто русская" трактовка понятия "народность" в уваровской "триаде".

С отставкой С.С. Уварова в 1849 г., по наблюдениям А.Ю. Бахтуриной, российская государственная власть "начинает отходить от идеи связи самодержавия с божественными законами, заменяя ее идеей абсолютной, ничем не ограниченной власти" [10. С. 31]. Но это продолжается только до смерти Николая I в 1855 г. Неудачная Крымская война выявила необходимость нового переосмысления всех элементов "триады". Таким образом, теория начинает распыляться, утрачивать целостность. Эпоха реформ, начавшаяся со вступления на престол Александра II, потребовала выработки новой государственной доктрины. Теория официальной народности постепенно вытесняется из общественного сознания новыми русскими идеологическими доктринами, менее официальными, в том числе и такими, в которых культивировалась русская национальная исключительность. В то же время модифицированная триада "православие – самодержавие – народность" проявила удивительную живучесть и использовалась в официальной пропаганде вплоть до Февральской революции 1917 г.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бродский Н.Л. Славянофилы и их изучение // Ранние славянофилы: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы. М., 1910. С. XXX, LIII–LXII.
2. Полюевиков М. Николай I: Биография и обзор царствования. М., 1918.
3. Riasanovsky N.V. *Nikolas I and official nationality in Russia. 1825–1855.* Los Angeles, 1959.
4. Picht U. *Pogodin und die slavische Frage.* Stuttgart, 1969.
5. Whittaker C.H. *The origins of modern Russian education: An intellectual biography of count Sergei Uvarov. 1786–1855.* Northern. Illinois univ. press, 1984.
6. Досталь М.Ю. Об элементах романтизма и русском славяноведении 40–50-х годов XIX в. (По материалам периодики) // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990.
7. Досталь М.Ю. Славистика в "Северной пчеле" в 40-е годы XIX века // Балканские исследования. М., 1992. Вып. 16: Российское общество и зарубежные славяне, XVIII – начало XX века. С. 91.
8. Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной мысли дореволюционной России. М., 1993.
9. Dostal'ová M. "Slovanská otázka" v názoroch grófa S.S. Uvarova // *Slovanské štúdie.* Bratislava, 1993. Sv. 1–2. S. 67–78.
10. Бахтурина А.Ю. Государственная доктрина российского самодержавия в XIX – начале XX века (К вопросу о возникновении и развитии "теории официальной народности") // Россия и Европа: поиск единства или апология самобытности. М., 1995. Вып. 1.
11. Лакер У. Черная сотня. Происхождение русского фашизма. М., 1994.
12. Досталь М.Ю. Славянский вопрос в мировоззрении графа С.С. Уварова // Славянская идея: история и современность. М., 1998.
13. Олесеюк Е.В. Православие... Самодержавие? Народность! Граф Уваров и просвещение в России // Волга (Саратов), 1997. № 11/12.
14. Десятилетие Министерства народного просвещения. СПб., 1865. С. 2.
15. Уваров С.С. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843 // ОПИ ГИМ. Ф. 17. Д. 47. Л. 5 об.
16. Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Вестник Европы. 1907. № 4. С. 53.

17. *Бурачек С.А.* Отчет "Маяка" за 5 лет // Маяк. 1844. Т. 17. Кн. 33. С. 85.
18. *Бурачек С.А.* Важнейшие из недугов православной России // РО ПД (ИРЛИ). Ф. 34. Д. 396. Л. 1 об.-2.
19. [*Бурачек С.А.*] Рец.: О значении России в семействе европейских государств. Соч. И. Кулжинского. М., 1840 // Маяк. 1841. Ч. 13. Кн. 5. Гл. IV. С. 49.
20. *Титов Н.* Слова два-три о началах народности // Маяк. 1842. Т. 2. Кн. 4. Гл. IV. С. 204-205.
21. *Бурачек С.А.* Рец.: Русская книга для грамотных людей. Соч. И. Кулжинского // Маяк. 1841. Т. 3. Кн. 5. Гл. IV. С. 20.
22. Рец.: Литературные очерки И. Кулжинского. М., 1836 // Маяк. 1841. Ч. 17. Т. 5. Гл. IV. С. 20.
23. *Костыга Ф.* О том, есть ли у нас русская критика? // Маяк. 1844. Т. 15. Кн. 29. Гл. IV. С. 3.
24. *Морошкин Ф.Л.* Предисловие к III главе II отдела (первый и последний ответ на все бездоказательные рецензии) // Маяк. 1842. Т. 6. Кн. 12. Гл. III. С. 3.
25. *Досталь М.Ю.* Основные проблемы истории славян в журнале "Русская беседа" // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991.
26. От редактора // Москвитянин. 1855. Кн. 24. С. 309.
27. *Досталь М.Ю.* Славистика в университетских курсах М.П. Погодина (1825-1844) // Славянская филология. Л., 1988. С. 24-34.
28. *Погодин М.П.* Взгляд на русскую историю // *Погодин М.П.* Историко-критические отклики. М., 1846 [сентябрь 1832 г.].
29. [От редактора] // Журнал Министерства народного просвещения. 1834. № 1. С. V-VI.
30. *Шевырев С.П.* Учебное заведение Н.И. Цветкова // Москвитянин. 1850. № 14. Кн. 2. Московская летопись. С. 21.
31. Рец.: Мысль о православии при посещении святыни русской [А.Н. Муравьева] // Москвитянин. 1850. № 16. Кн. 2. С. 101-102.
32. *Погодин М.П.* Параллель русской истории с историей западных европейских государств, относительно начала // Москвитянин. 1845. № 1. С. 3.
33. *Погодин М.П.* За русскую старину // Москвитянин. 1845. № 3. С. 28.
34. *Погодин М.П.* Петр Великий // Москвитянин. 1841. № 1. С. 12.
35. *Погодин М.П.* Ответ П.В. Киреевскому // Москвитянин 1845. № 3. С. 57.
36. Русский язык для славян // Москвитянин. 1850. № 10. Кн. 2. Отд. VI. С. 53.
37. Об общеславянском литературном языке // Москвитянин. 1851. № 18. Кн. 2. С. 181-185.
38. *Досталь М.Ю.* Славянский вопрос в творчестве и общественно-политической деятельности Ф.И. Тютчева // Общественная мысль и славистическая историография. Калинин, 1989. С. 8-14.
39. Кирило-Мефодіївське товариство. Київ, 1990. Т. 3.
40. Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1887. Ч. 1: Учебные и служебные годы. Т. 2. Письма 1848-1851 гг. С. 160.



© 1999 г. А.Ф. СМОЛЕНЧУК

## БЕЛОРУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА И СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ

Белорусская историография была важнейшей составляющей процесса формирования национальной идеологии. Научные труды, а также публицистика активно влияли на национальное самосознание и играли заметную роль в выработке национальной идеологии.

В связи с этим необходимо обратить особое внимание на так называемый образ врага, который стал частью белорусской исторической концепции.

Во второй половине XIX в. официально Белоруссия рассматривалась как часть "Северо-Западного края России", а белорусы считались одним из племен единого русского народа. Одновременно отметим, что идея этнической и культурной самобытности белорусской нации с большим трудом утверждалась в сознании жителей "Северо-Западного края".

Становлению национальной идеологии способствовали усилия деятелей белорусского национального движения: Кастуся Калиновского, белорусских народников группы "Гомон", основателей Белорусской социалистической Громады (Ивана и Антона Луцкевичей, Вацлава Ивановского и др.), Вацлава Ластовского, литераторов Винцента Дунина-Марцинкевича, Франтишка Богушевича, Максима Богдановича, Янки Купалы, ученых Адама Киркора, Митрофана Довнар-Запольского, Евфимия Карского и др. Многие из них имели непосредственное отношение к разработке основ белорусской национальной историографии.

Исторические экскурсы К. Калиновского (1838–1864) на страницах издаваемой им "Мужыцкай праўды" являлись частью пропагандистской кампании по подготовке восстания 1863 г. С помощью истории Калиновский стремился доказать крестьянам, что причиной их тяжелого положения является "московское правление"<sup>1</sup>: "...Установилась власть Москвы и все сделалось по-чертовски". Этот "чертовский" период противопоставлялся более ранней эпохе "свободы и богатства": "Был когда-то народ наш свободным и богатым. Не помнят этого наши отцы и деды, но я вычитал в старых книжках, что так когда-то бывало. Барщина тогда никакой не было. И не нужно этому удивляться, потому что леса было много, поля – сколько хочешь, а людей – мало. Так зачем же служить барщину за землю, если каждый мог лесу нарубить, дом себе построить и иметь свое поле". Конец этого "золотого века" Калиновский объяснял грабительскими набегами "немца" и "москаля" [1. С. 217]. Вероятнее всего, он имел в

Смоленчук Александр Федорович – канд. ист. наук, декан Института повышения квалификации педагогических работников (Гродно).

<sup>1</sup> Перевод текстов К. Калиновского, Ф. Богушевича, В. Ластовского с белорусского языка сделан автором статьи.

виду походы на Великое княжество Литовское рыцарей-крестоносцев в XIII – начале XV в. и наступление восточного соседа в XVI–XVIII вв.

В публицистике Калиновского "москаль" выступал в качестве главного врага Белоруссии. Однако это понятие не распространялось на весь русский народ, как, впрочем, и термин "немцы" не охватывал всей немецкой нации. Для читателя "Мужыцкай прауды" "москали" – это российские солдаты, чиновники и царь.

Однако "образ врага" у Калиновского не сводился только к участникам "грабительских набегов". Повествуя о нападениях агрессивных соседей, он отмечал, что на призыв короля встать на защиту родной земли отозвались далеко не все. Многие проявили безразличие и трусость. И король, чтобы вознаградить мужество, приказал тем, кто не пошел воевать, кормить и содержать своим трудом воинов и их семьи. Автор "Мужыцкай прауды" напомнил и о Манифесте Т. Костюшко, который даровал свободу крестьянам – участникам восстания 1794 г. Но и в этом случае, отмечал Калиновский, далеко не все поднялись на борьбу. В результате восстание было подавлено. Стоит отметить, что Калиновский, убежденный противник крепостничества, фактически признал справедливым закрепощение крестьянства шляхтой, связывая свободу каждого с участием в борьбе против внешних врагов.

Таким образом, в публицистике К. Калиновского "образ врага" выступал в двух ипостасях – внешней ("немец" и "москаль") и внутренней (собственное безразличие, трусость и т.д.).

Значительный вклад в белорусскую историографию внес Адам Гонорий Киркор (1818–1886), автор исторической части третьего тома "Живописной России" (1882), посвященного Белоруссии и Литве. Киркор принадлежал к небогатому дворянскому роду татарского происхождения. Статьи и научные работы писал по-польски и по-русски, а по своему самосознанию был типичным "литвином"<sup>2</sup>.

Любовь к родине – "исторической Литве", хорошее знание научной литературы, собственные этнографические, археологические и исторические исследования помогли Киркору написать работу, которая стала важным событием научной и общественной жизни края.

Киркор много внимания уделил той роли, которую сыграли в истории Белоруссии и Литвы ближайшие восточный и западный соседи. В частности, он отметил борьбу польских политиков во главе с краковским епископом З. Олесницким против стремления великого князя Витовта "создать мощное независимое государство и стать королем Литвы и Руси" [2. С. 84]. Люблинскую унию Киркор оценил, как политическую смерть Великого княжества Литовского [2. С. 91]. Тем не менее, никакого осуждения действий польских политиков в книге нет. Наоборот, З. Олесницкого и его сторонников автор характеризовал, как "людей умных, глубоких политиков и истинных патриотов" Польши [2. С. 87]. Сходным образом Киркор оценил и культурное доминирование Польши на белорусско-литовских землях в XVII–XVIII вв. "Нельзя... не согласиться, – писал он, – что как в образовании, так и в гражданских правах и учрежде-

<sup>2</sup> Здесь необходимо сделать следующее пояснение. Под "исторической Литвой" подразумевались белорусско-летувисские (литовские) земли, которые составляли основу Великого княжества Литовского до Люблинской унии 1569 г. Во второй половине XIX в. "историческая Литва" в сознании местного населения делилась на собственно Литву и Белоруссию. Литва охватывала территорию Виленской, Ковенской, Гродненской и западную часть Минской губ.; Белоруссия – территорию Витебской, Могилевской, восточную часть Минской губ., иногда – Смоленскую губ. На этих землях: населенных преимущественно белорусами и литовцами, во времена А. Киркора традиционно сильное влияние польской культуры сочеталось с активным внедрением в административную сферу и в образование русского языка. Тем не менее глубинный смысл культурных процессов определялся не внешним влиянием, а этнокультурным состоянием белорусского и литовского крестьянства. В своей подавляющей массе оно не поддавалось ни полонизации, ни русификации и сумело сохранить свое этническое лицо. Благодаря этому земли "исторической Литвы" сохранили собственное ("литвинское") своеобразие. Именно оно предопределяло развитие культуры, которая, в зависимости от внешних обстоятельств, приобретала польскоязычную или русскоязычную оболочку. Не случайно А. Мицкевич, В. Дунин-Марцинкевич, А. Киркор и многие другие деятели культуры XIX в. считали себя "литвинами".



ниях, наконец, в глубоко сознанном чувстве патриотизма, поляки имели значительный перевес над литовцами и белорусами. Этим-то и объясняется, что, по естественному закону природы, высшая, сильнейшая цивилизация поглотила слабейшую, младшую" [2. С. 136]. Объяснение этого преимущества, по Киркору, состояло в том, что "историческое колесо повернуло в сторону поляков" [2. С. 135].

Характеризуя отношения с восточным соседом, Киркор отметил имперские амбиции московских правителей, которые стали причиной военных вторжений в Белоруссию и Литву. Тысячи и тысячи могил, писал он, напоминают белорусам о тех войнах [2. С. 301]. В результате походов Алексея Михайловича и Петра I белорусские города и села лежали в руинах. Киркор сравнил последствия этих войн со следами наполеоновского нашествия [2. С. 310]. Политические события второй половины XVIII – первой половины XIX в. историк оставил без комментариев. Никаких оценок внешней политики России, ее влияния на историческую судьбу белорусов автор давать не стал.

На первый взгляд, "образ врага" в работе А. Киркора отсутствовал. Все негативное, что пришло в Белоруссию с Запада или Востока, он объяснял исторической предопределенностью. В его концепции поляки даже не попали в категорию "чужих". Близость поляков обуславливалась переплетением их исторической судьбы с судьбами белорусов и литовцев. У Киркора (и не только у него) "литвинский" патриотизм сочетался с восприятием Речи Посполитой как Родины в широком смысле. Именно поэтому в его сдержанных и осторожных выводах ощущалась симпатия к польской нации и, особенно, к деятелям польской культуры в белорусско-литовском крае.

Российское же влияние оценивалось иначе. И хотя автор не делал никаких заявлений, осуждающих российскую политику, с каждой очередной страницей его исторического обзора крепнет ощущение российской чужеродности. Определенная отстраненность историка от приводимых им исторических фактов – лишь вынужденная осторожность. Факты говорили сами за себя. В качестве примера можно привести авторские размышления в связи с восстанием 1863–1864 гг.: "Тысячи убитых в сражениях, множество расстрелянных и повешенных, тысячи сосланных в каторгу и Сибирь, сожжение и опустошение многих селищ, выселение целых деревень, лишение жителей дворянского сословия права приобретения имений, права государственной службы, ограничение числа воспитываемых в высших учебных заведениях, приостановление введения благодетельных реформ, коими пользуются внутренние губернии, как, например, земств, гласного судопроизводства и пр., – вот грустные последствия увлечений и легкомысленной веры в заграничные подстрекательства" [2. С. 96]. Сделанное автором заключение вступало в определенное (эмоциональное) противоречие с подробным перечислением тех бед, которые пережил край. Это перечисление несло мощный антироссийский заряд и указывало на совсем иного их виновника.

В начале 80-х годов XIX в. первую попытку теоретически обосновать существование белорусской нации предприняли народники-белорусы. В так называемом "Письме Данилы Боровика" ("Письмо о Белоруссии. Письмо первое". 1882) отмечалось, что до XV в. белорусский народ жил своей самостоятельной жизнью, имел государственность ("Литва") и сам определял свою судьбу. Все изменилось, когда усилилось политическое и культурно-религиозное влияние Польши. Результатом последнего, по мнению автора "Письма", стали полонизация высшего класса белорусского народа и утрата государственности [3. С. 26]. Процессы полонизации, однако, не затронули "простой белорусский народ", который был придавлен крепостным правом и вел борьбу за выживание.

С конца XVIII в. на землях Белоруссии установилось российское правление. Поначалу, правда, почти ничего не изменилось. В "Письме" отмечалось, что в царствование Александра I продолжалась полонизация, затронувшая тогда и крестьян. А после неудачи восстания-1863 г. началась русификация края. Главными его инструментами, по мнению белорусских народников, были система образования и политические репрессии: "Наша Белоруссия вот уже 20 лет находится в исключительном военном

положении, при котором невозможна никакая законность" [3. С. 28]. Тем не менее в "Письме" выражалась уверенность в том, что белорусский народ не поддался ни русификации, ни полонизации и сохранил свои национальные особенности.

Сходных взглядов на белорусскую историю придерживались издатели журнала белорусских народников "Гомон". Они подчеркивали стремление ближайших соседей растворить белорусов в "великорусском или польском море": «Политика насилия здесь продолжалась целые столетия, начиная с владычества Польши и кончая господством московского абсолютизма, не останавливающегося ни перед какими средствами, лишь бы только привести все к системе "единообразия"» [3. С. 60–61].

Белорусские народники, приверженцы российского варианта утопического социализма, считали характерной чертой "особенной исторической жизни" Белоруссии "народовластие". Народ по своей воле изгонял и приглашал князей. Народники явно идеализировали вечевые порядки Полоцкой земли, проецируя собственное представление о будущем белорусского края на его прошлое. Конец "народовластия" они связывали с политикой Польши, которая "развратила шляхетскую белорусскую интеллигенцию и подавила народ" [3. С. 112]. Народники обратили внимание на то обстоятельство, что слово "поляк" для белоруса является синонимом слова "помещик" и напоминает тяжелые времена крепостничества.

"Гомоновцы" категорически отвергали тезис о забитости и вырождении белорусов. Они напоминали, что белорусы неоднократно в своей истории поднимались на борьбу "в защиту своей оригинальности и против гнета шляхетского" [3. С. 112]. Народники призывали белорусов поверить в собственные силы и стать хозяевами своей судьбы: "Долой эксплуатацию, мы сами желаем управлять собой! Долой чужие руки, Белоруссия должна быть для белорусов, а не для чуждых элементов! Довольно нам подчиняться сильнейшим и ждать, куда нас поворотят – направо или налево! Мы сами должны завоевать себе свободу, не возлагая надежды на других!" [3. С. 61].

В публицистике белорусских народников "образ врага" занял видное место. Они первыми выдвинули тезис "двух зол" белорусской истории – польского и московского. Впервые "образ врага" проецировался на социальную сферу. Историческая ответственность за тяжелую долю белорусского народа возлагалась на шляхту. Примечательно и само употребление ими термина "белорусский народ", имевшего как этнический, так и социальный смысл. Народники стали отождествлять белорусскую нацию с крестьянством. Они твердо верили в способность белорусов самостоятельно определять свою судьбу. Эта убежденность не позволила "врагам" превратиться в определяющий фактор белорусской истории.

Для становления национальной историографии большое значение имело этнографическое изучение белорусских земель, которое активизировалось со второй половины 60-х годов XIX в. Работы М. Никифоровского, И. Сербова, Н. Янчука, Е. Романова и других вместе с третьим томом "Живописной России", давал "второе дыхание" концептуальным подходам историков начала XIX в.<sup>3</sup>, создали условия для постановки преимущественно публицистического варианта национальной концепции истории Белоруссии на научную основу. Первый серьезный шаг на этом пути был сделан М. Довнар-Запольским (1867–1934).

Уже в 1888 г. историк выступил на страницах газеты "Минский листок" с серией публикаций под общим названием "Белорусское прошлое". Он не сомневался в существовании белорусской нации, которая имела собственную, отличную от других народов, историю. Исследователь отмечал мощные традиции народовластия в белорусской истории: "Белорусский народ, – писал Довнар-Запольский, – до конца XVI в. ... жил самостоятельной жизнью, управлялся прежними вечевыми порядками" [4. С. 333]. "Демократические" традиции белорусского общества противопоставлялись государственному строю Польши и России. Именно усиление политического и

<sup>3</sup> Имеются в виду историки Виленского университета Игнат Данилович, Михаил Бобровский, Игнат Оноцевич, Иосиф Ярошевич и др. В начале XIX в. они впервые попытались с патриотических позиций проанализировать историю Белоруссии и Литвы.

религиозного влияния Польши, по мнению исследователя, нанесло удар по белорусской самостоятельности и традициям народовластия. В деятельности польских политиков Довнар-Запольский усматривал стремление установить на белорусской земле аристократическое правление и навязать ее населению свой образ жизни. Установление "польско-католического ига" заставило белорусов искать помощи Москвы. Но своим отношением к местным национально-историческим особенностям, демократическим традициям "московское правительство" по сути ничем не отличалось от польского: "Польское начало вносило в Белоруссию шляхетскую аристократическую республику, московское начало – боярскую олигархию; то и другое государства совершенно исключали демос, тогда как белорусский народ был прежде всего по своим историческим и народно-бытовым традициям в высшей степени демократичен" [4. С. 334]. Довнар-Запольский подчеркнул стремление Москвы к уничтожению всего невеликорусского. Политику русификации историк считал губительной для края.

М. Довнар-Запольский предпринял попытку дать научное обоснование тезиса "двух зол". По его мнению, восточный и западный сосед, взаимодополняя свои усилия, совместно уничтожали политическую самостоятельность белорусской нации и препятствовали ее национально-культурному развитию.

В начале XX в. исследователь принял участие в подготовке Русским географическим обществом девятого тома труда "Россия. Полное географическое описание нашего Отечества". Историк должен был учитывать, что имеет дело с официальным изданием. Возможно, именно этим объясняется использование им соответствующей терминологии ("Западная Россия"), отказ от собственных оценок политики российского правительства на белорусских землях и т.д. Тем не менее принципиальным положением своей исторической концепции он не изменил. Довнар-Запольский по-прежнему стоял на той позиции, что белорусский край прошел собственный исторический путь и имеет самобытную историю. Сохранился, хотя в достаточно мягкой формулировке, тезис "двух зол" белорусской истории. "Польское зло" смягчило утверждение, что характерные для Белоруссии "особенности быта развивались и воспринимали черты польского в том случае, если последние находились в соответствии с первыми" [5. С. 88].

По сравнению с публикациями 1888 г., более ощутимой стала социальная тема: Крепостничество Довнар-Запольский связал с польским влиянием, социально-экономический гнет стал переплетаться с гнетом национально-религиозным [5. С. 100]. Однако историк был далек от того, чтобы только польскую сторону обвинять во всех бедах белорусской деревни, справедливо отмечая, что крепостные порядки освящались и российскими законами [5. С. 157].

Исследователь достаточно сдержанно оценивал политику русификации: "Проводники русской политики ... стремились стереть все, напоминавшее Польшу, но вместе с тем они восставали и против какого бы то ни было движения среди местных народностей" [5. С. 121]. Однако, как и в случае с А. Киркором, фактический материал говорил сам за себя. Последовательно проводилась мысль о том, что Белоруссия – край, отличный от Польши и России, и, управляя им, надлежит с этим считаться.

М. Довнар-Запольский на протяжении всей своей научной деятельности придерживался тех концептуальных положений, которые были сформулированы в его первых публикациях. Работы этого периода сыграли большую роль в научном обосновании того "образа врага", который мы видели на страницах "Гомона".

В 1891 г. в Кракове вышел из печати поэтический сборник Ф. Богушевича (1840–1900) "Дудка беларуская". Авторское предисловие к сборнику стало одним из программных документов белорусского национально-культурного возрождения начала XX в. Оно было пронизано чувством гордости за славную историю тех времен, когда белорусская земля, "как ядрышко в орехе", являла собой экономическую и культурную основу Великого княжества Литовского, когда на белорусском языке писали и разговаривали "великие паны". Однако чувству гордости сопутствовало чувство утра-

ты: "Почему же мы такие неразумные?!... Наш язык для нас святой, потому что дан нам Богом..., а мы сами от него отказались" [1. С. 250]. Богушевич вслед за Калиновским также обращал внимание на "внутреннего врага", который у него отождествлялся с неуважением к самим себе, отсутствием чувства национального достоинства, историческим беспамятством.

В 1910 г. в виленской типографии Мартина Кухты была напечатана "Кароткая гісторыя Беларусі". Ее автор, В. Ластовский (1883–1938), активный деятель белорусского национально-культурного возрождения, не был профессиональным историком. В предисловии Ластовский отметил, что позволил себе только "некоторые события оценить по-своему, с точки зрения пользы и вреда белорусского народа" [6. С. 5]. Продолжая патриотическую линию белорусской нелегальной публицистики, автор обращался к наиболее известным исследованиям историков, этнографов и лингвистов разных направлений, в том числе работам А. Киркора, М. Довнар-Запольского и Е. Карского.

"Кароткая гісторыя Беларусі" – это, в первую очередь, история белорусской государственности. По мнению Ластовского, борьбу за независимость начал Полоцк в XI в. Характеризуя Полоцкое княжество, автор вслед за "гомонавцами" и Довнар-Запольским отстаивал тезис "народовластия": "В Белоруссии с самых давних времен существовал вечевой порядок, при котором... княжеством правил народ, а не князь". Однако Ластовский придал данному тезису определенную патриотическую окраску: "Народ крепко любил род своих князей. Князю другого, чужого рода было трудно, да и небезопасно сидеть на троне в Полоцке" [6. С. 8]. Подобную "симпатию" Ластовский отмечал и для периода правления великого князя Витовта: "Каждый крестьянин мог прийти к нему и рассказать о своих обидах и нуждах. Витовт принадлежал к числу тех, кто считал равными себе людей каждой нации и каждой веры при условии, что те были хорошими гражданами" [6. С. 27]. И далее: "При Витовте Беларусь вздохнула с облегчением. Тяжело при нем жилось князьям и боярам, а народу значительно лучше" [6. С. 30]. Термин "народ" в первых двух частях книги служил для обозначения социальной общности.

Историю государственности периода Великого княжества Литовского Ластовский объяснял с точки зрения "двух зол" белорусской истории. Он утверждал, что "Москва" и Польша, всегда враждебные друг другу, фактически объединились в своем стремлении уничтожить Белорусско-Литовское государство. Агрессия "Москвы" способствовала экспансионистским целям Польши, став главной причиной заключения Люблинской унии, которую Ластовский, вслед за Киркором, оценил как политическую смерть Белорусско-Литовского государства [6. С. 30].

Этому же способствовала колонизация белорусской шляхты. Ластовский с осуждением писал о тех, кто "оставлял все родное белорусское, ради сословных шляхетских интересов забывал об интересах национальных" [6. С. 64]. На страницах своей книги он почти полностью воспроизвел текст "Прамовы Івана Мялешкі". Это анонимное произведение конца XVI в. резко осуждало ополячившуюся шляхту [6. С. 66]. Шляхте и магнатории Ластовский противопоставил народ, который "сумел сберечь свой древний язык, свои традиции" [6. С. 47]. Именно он отстаивал национальные интересы, боролся за независимость, развивал белорусскую культуру. В данном контексте "народ" выступает в качестве категории этнической.

Согласно Ластовскому, тот, кто проводил антинародную политику, автоматически становился врагом белорусской независимости. И наоборот. Антишляхетская направленность исторической концепции Ластовского, которая отчетливо проявилась в трактовке им событий XV–XVIII вв., получала не столько социальное, сколько национальное наполнение. Причины крестьянско-казацкого движения в Белоруссии в 1648–1651 гг. историк видел преимущественно в национально-религиозной политике верхов Речи Посполитой. Войско гетмана Януша Радзивилла, которое подавляло восстания, он называл польским.

Однако Ластовскому нельзя приписывать полное отождествление белорусского

этноса с крестьянством. Политическую деятельность Я. Радзивилла в период войны 1654–1667 гг. историк оценил положительно. В попытке гетмана передать Великое княжество под опеку шведского короля он увидел стремление преодолеть зависимость от Польши, чтобы со временем возродить самостоятельное Белорусско-Литовское государство [6. С. 81]. Более того, Ластовский употребляет термин "наша польская шляхта" [6. С. 84], отмечая при характеристике политических событий первой половины XIX в. присутствие в сознании местной шляхты чувства своей исторической отличности от поляков Царства Польского [6. С. 94]. Концептуальная нечеткость "Кароткай гісторыі", возможно, была связана с компилятивным характером работы.

Речь Посполитую XVII–XVIII вв. Ластовский называл "польской Речью Посполитой". Ее руководителей он обвинял в уничтожении свободы вероисповедания. Именно политика национального и религиозного гнета, по мнению историка, заставила православных искать поддержки у Москвы, а протестантов – в Пруссии [6. С. 86]. Последствием стали разделы Речи Посполитой.

В последней части своей книги Ластовский подробно остановился на антибелорусской и антинародной политике российских властей. Подробно перечислив основные мероприятия правительства по русификации Белоруссии, он отметил также значительное ухудшение материального положения крестьян, усиление крепостного гнета [6. С. 94]. Ластовский писал, что после подавления восстания 1863 г. началась жестокая политика уничтожения всех местных национально-культурных особенностей: "Люди, присланные из Петербурга и российской глубинки, совсем не знали ни местного края, ни его истории. Не знали и не хотели знать тех порядков, которые имели вековые традиции... Все силы этих людей были направлены на то, чтобы уничтожить все местное, чтобы повсюду доминировало все великорусское" [6. С. 98]. Если в трактовке Ластовским событий XV–XVIII вв. превалировало "польское зло", то в освещении истории XIX в. – уже "московское".

В исторической концепции Ластовского "образ врага" приобрел решающее значение для истории Белоруссии: после смерти Витовта все определялось либо "польским", либо "московским злом". Продолжая традиции своих предшественников, Ластовский связывал тезис "двух зол" исключительно с правящими кругами Польши и России. Понятие "враг" не употреблялось в отношении ко всей русской или польской нации. Напротив, специально подчеркивалось, что во время присоединения Белоруссии "Россия, также как и Польша, была в руках шляхты-дворянства. Народ там также был в неволе" [6. С. 90]. Говоря о русификации Белоруссии, В. Ластовский отметил, что эта политика "возмущала наиболее светлых русских людей, которым пришлось в те времена жить в нашем крае" [6. С. 98].

Анализ "образа врага" в белорусской историографии позволяет увидеть некоторые важные тенденции в становлении национальной идеологии. Как уже отмечалось, "враг" выступал в двух ипостасях. Наибольший интерес представляет "внутренний враг", под которым понималось безразличие белорусов к судьбе края, разобщенность, неуважение к самим себе как представителям самобытной нации и т.д.

Акцентирование Калиновским и Богушевичем внимания на этой стороне проблемы не случайно, ибо они являлись активными участниками политических, общественных и культурных процессов, которые происходили на белорусских землях: Калиновский – один из руководителей восстания 1863–1864 гг.; Богушевич – участник этого восстания, позднее в качестве адвоката он отстаивал права белорусских крестьян в суде. Эти люди непосредственно соприкасались с белорусской народной массой, что, возможно, и заставляло их даже в исторических экскурсах обращать внимание на состояние этнического самосознания.

Во второй половине XIX в. для большинства этнических белорусов региональная, конфессиональная и сословная идентификация все еще подменяла собственно национальное самосознание. Своя собственная культура, белорусский язык, белорусская история не стали для них предметом гордости. Наоборот, многие стремились избавиться

от "белорусскости", поскольку в массовом сознании она ассоциировалась с низким социальным статусом человека. Активные деятели белорусского движения не могли этого не видеть. Даже Ластовский при объяснении причин полонизации обратил внимание на "белорусский вклад" в данный процесс. Народникам увидеть это, возможно, мешала, характерная для них идеализация народа.

Размышления о "внутреннем враге" не могли не способствовать постепенному осознанию белорусами собственной нации как субъекта исторического процесса. В национальной идеологии это должно было воплотиться в понимание собственной ответственности за прошлое и будущее Белоруссии. Однако по мере становления белорусской историографии место, отводимое "внутреннему врагу", неуклонно уменьшалось.

С начала 80-х годов XIX в. обозначилось доминирование ипостаси "внешнего врага", нашедшей свое выражение в тезисе "двух зол" белорусской истории – "польского" и "московского". Этот тезис, впервые сформулированный белорусскими народниками, получил научное обоснование в работах М. Довнар-Запольского. В "Кароткай гісторыі Беларусі" В. Ластовского он превратился в определяющий исторический фактор.

Подобная тенденция, вероятно, была связана с особенностями формирования белорусской нации, которой, в определенном смысле, суждено было стать заложницей польско-русского соперничества. Это соперничество во второй половине XIX в. приобрело довольно острые формы и охватило практически все сферы жизни белорусского края. При этом обе стороны не признавали самобытности белорусской нации. На белорусов смотрели как на "этнографический материал", который можно использовать для усиления собственных позиций. В 1911 г. видный деятель белорусского движения А. Луцкевич охарактеризовал эту ситуацию следующим образом: "Белорусы попали под перекрестный огонь двух враждующих сторон – поляков и русских" [7].

Именно осознание зависимости судьбы края от внешнего фактора способствовало выработке концепции "двух зол" в историографии. Обратной стороной ее стал своеобразный комплекс собственного исторического бессилия и ощущение непричастности к собственной истории, что, безусловно, оказало влияние на состояние национальной идеологии.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беларуская літаратура XIX в. Хрэстаматыя / Склад А. Лойка, В. Регойша. 2-е выд. Мінск, 1988.
2. Живописная Россия / Под ред. П. Семенова. М.; СПб., 1882. Т. 3.
3. Публицистика белорусских народников / Сост. А. Александрович, И. Александрович. Минск, 1983.
4. Довнар-Запольский М. Исследования и статьи. Киев, 1909. Т. 1.
5. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / Под общ. рук. П. Семенова. СПб., 1905. Т. 9.
6. Ластоўскі В. Кароткая гісторыя Беларусі. Мінск, 1992.
7. Центральная библиотека АН Литвы. Отдел рукописей. F21-337. С. 11.



© 1999 г. Е.Ю. БОРИСЕНКО

## УКРАИНИЗАЦИЯ 1920–1930-х ГОДОВ В СССР В ОСВЕЩЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Значительные общественно-политические перемены последнего десятилетия, пересмотр принятых в советской историографии оценок, разработка современными украинскими учеными концепции национальной истории – все это сказалось и на восприятии такого сложного явления, как политика коренизации (применительно к Украине – украинизации) партийно-государственного аппарата в национальных республиках, развернутая большевиками в 1920-е годы. Последняя обычно рассматривается не только в русле большевистской политики советского государственного строительства, но и на общем фоне социально-политической жизни на Украине в этот период. Данной проблематикой занимаются как известные ученые, работающие в Институте истории НАНУ, в государственных университетах в Киеве и Львове (С.В. Кульчицкий, Г.В. Касьянов, В.М. Даниленко, В.О. Кондратюк, О.Ю. Зайцев, Я.Р. Дашкевич и др.), так и молодые исследователи (В.Г. Шарпаций, Запорожский университет и др.).

Особенностью историографии рассматриваемой проблемы является повышенное к ней внимание, она включена во все учебные пособия по украинской истории XX в. В то же время фундаментальные монографии по данной теме отсутствуют; существующая литература пока ограничивается особыми разделами в крупных трудах по общественно-политической жизни на Украине в 1920–1930-е годы, а также специальными статьями. Последние обстоятельства нельзя ставить в вину украинским историкам, поскольку современный этап изучения только начался; необходимо было не просто пересмотреть устоявшиеся оценки "ленинской национальной политики", но и ввести в оборот значительный массив источников, чтобы воссоздать целостную картину. Помимо опубликованных источников (сборников официальных партийных документов, материалов прессы), исследователи активно работают с фондами Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины и Центрального государственного архива общественных организаций Украины в Киеве. Весьма перспективным в этом плане является изучение и других архивных комплексов, прежде всего хранящихся в Москве, что поможет выявить отношение союзного центра к происходившей в УССР украинизации. Не менее необходима работа в областных архивах Украины (следует отметить в данной связи работу с Черниговским архивом Л. Сурабко).

В последнее время предпринимаются попытки проанализировать подход советских

---

Борисенко Елена Юрьевна – канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Грант 98-01-00366.



историков к изучению национальной политики в союзных республиках в 30–80-е годы, обобщить выводы современных украинских историков [1]. Хотя "белых пятен" остается достаточно много и выработка теоретической концепции далека от завершения, нам представляется полезным обратиться к основным результатам, полученным украинскими историками на сегодня.

Одной из первых работ, по-новому осмысливающих национальную политику большевиков в 20–30-е годы, является опубликованная в 1989 г. статья В.С. Лозицкого [2]. Восстанавливая общую канву событий, связанных с украинизацией, автор обращает внимание на "специфические условия исторического развития Украины": "русификацию украинского города", "жесткую борьбу с контрреволюцией и украинскими мелкобуржуазными националистическими партиями", а также недооценку "отдельными большевиками значения национального вопроса в революционной борьбе на Украине", подтверждением чему служит "теория борьбы двух культур" секретаря ЦК КП(б)У Д. Лебеда [2. С. 47]. Несмотря на то, что работа написана в переломный момент, когда еще не всегда удавалось избежать стереотипов советской историографии, Лозицкий сумел обозначить основные параметры и аспекты проблематики для дальнейших исследований.

В последующие годы украинские историки основное внимание уделяли такому принципиальному вопросу, как причины проведения коренизации вообще и украинизации в частности. В то же время многие исследователи, рассматривая развитие украинской культуры в 20-е годы, говорят о национально-культурном возрождении. В этой связи ставятся вопросы о соотношении последнего и большевистской политики украинизации, об отношении к ней видных членов КП(б)У, о позиции различных социальных слоев в связи с введением украинского языка в школьное обучение, деопроизводство и др.

Касаясь причин коренизации, исследователи как правило отмечают прямую ее зависимость от активизации национальных процессов в СССР. Тезис о национально-культурном возрождении Украины в начале XX в. является одним из принципиальных положений украинских историков. Историки практически единодушно подчеркивают, что необходимость новой национальной политики большевиков на Украине была вызвана проходившими там национально-культурными процессами. "Революция 1917 года и создание Украинского государства стали факторами бурного роста национальной культуры, которая, наконец, вышла из полуполюгального существования: украинский язык стал государственным, создавались украинские школы, национальная Академия наук – место сосредоточения украинской национальной элиты, росли национальные культурно-просветительские организации. Повернуть этот процесс назад было уже просто невозможно", – пишет Г. Касьянов [3. С. 70]. Г. Васильчук отмечает, что сам процесс украинизации являлся неотъемлемой частью национального возрождения украинского народа, начавшегося в 1917 г. [4. С. 49].

Я. Дашкевич указывает на то, что украинизация была призвана ликвидировать последствия многолетней русификаторской политики [5. С. 57]. Ученый считает, что происхождение самого термина связано с дореволюционной черносотенной публицистикой, в которой он был образован по аналогии с "германизацией" и "русификацией". В понимании сторонников единой России, украинизация означала насилие по отношению к русским. "С таким резко негативным оттенком это слово попало и в советскую действительность", – заключает Я. Дашкевич [5. С. 56].

Некоторыми авторами ставится под сомнение оправданность термина "украинизация". «Политика коренизации, – пишет В. Даниленко, – получила на Украине... неудачное и исторически неоправданное название "украинизации". Это название никак не отвечало процессам, происходившим в сфере общественной и культурной жизни Украины как в период Центральной Рады, Гетманата, Директории, так и периода большевистского правления» [6. С. 67]. Историк замечает, что обращение народа к своей государственности, своим корням, своей культуре и историческим традициям не может быть украинизацией. Это был процесс, «который с полной

уверенностью можно назвать "дерусификацией" [7. С. 98]. Ситуация начала 20-х годов требовала большего представительства коренного населения в социально-культурных институтах [6. С. 67–68]. Он употребляет слово "украинизация" в кавычках, тогда как большинство авторов их не использует.

В данном случае необходимо напомнить полное наименование большевистской национальной политики в 1920-е годы: коренизация (>украинизация) партийного и государственного аппарата в республиках. Таким образом, речь шла не об украинском обществе вообще, а только о партийном и государственном аппарате, о так называемом приближении его к трудящимся массам. "Для того, чтобы Советская власть стала и для инационального крестьянства родной, – говорил И.В. Сталин на XII съезде РКП(б) – необходимо, чтобы она была понятна для него, чтобы она функционировала на родном языке, чтобы школы и органы власти строились из людей местных, знающих язык, нравы, обычаи, быт..." [8. С. 482]. В то же время для успешного проведения украинизации необходимо было не просто пополнить партию коммунистами-украинцами, заставить чиновников изучить украинский язык и перевести на него делопроизводство. Большевики понимали необходимость развития сети украинских учебных, научных и культурных учреждений, что объективно создавало условия для развития украинской культуры. Представляется необходимым в данной связи четко различать понятия "украинизация" и "национально-культурное возрождение": первое относится к партийно-государственной сфере, второе – к совершенно иной области, поэтому вряд ли возможно ставить знак равенства между украинизацией и всеми теми процессами, которые происходили в общественной и культурной жизни, хотя, без сомнения, они были между собой тесно связаны.

Особое значение проблеме соотнесения украинизации и национально-культурного возрождения придает С.В. Кульчицкий: "Нередко в историографии с украинизацией отождествляется процесс бурного национального возрождения, который проявлялся в росте культуры и самосознания народных масс. В действительности национальное возрождение составляло побочный эффект курса на коренизацию режима" [9. № 5. С. 62]. Таким образом, согласно С. Кульчицкому, национально-культурные процессы на Украине были не причиной, а результатом политики коренизации, преследовавшей сугубо прагматические цели усиления режима.

Однако последнее положение вызывает возражения. Так, Я.Р. Дашкевич считает, что курс на коренизацию был продиктован двумя "тактическими соображениями": "Внешними (экспорт революции) и внутренними факторами (необходимость остановить национально-освободительное движение на окраинах)" [5. С. 56].

Некоторые украинские историки считают, что большевики не могли рассчитывать на успехи в социалистическом строительстве "без привлечения на свою сторону подавляющего большинства сельского населения, а также национальной интеллигенции". Поэтому «необходимо было дать народам России, объединенным в единую державу, своеобразную "культурно-национальную автономию", реальную возможность развивать свои национальные культуры и языки». Именно эти цели и преследовал курс на коренизацию партийно-советского аппарата национальных республик [10. С. 250].

Давая оценку современной украинской историографии, В. Коцур указывает на необходимость многофакторного подхода к проблеме. Между тем ученый называет лишь два уже упоминавшихся выше момента: "Слабость политической власти большевиков на Украине, сильные устремления нации к возрождению государства" [1. С. 289].

На наш взгляд, обстановку на Украине после революции и гражданской войны нельзя рассматривать в отрыве от политической ситуации в других республиках, а также в столице Союза – Москве. Следовало бы обратить внимание на расстановку сил внутри РКП(б). Стремившийся к упрочению своей власти Сталин нуждался в прочном тыле. "Пока Сталин боролся за власть, – пишет С.В. Кульчицкий, – он был лучшим другом национальных республик. В борьбе с соперниками он остро нуждался

в поддержке крупнейшей национальной республики – УССР, само многочисленной, за исключением российской, республиканской партийной организации – КП(б)У". Таким образом, украинские коммунисты получили своеобразный карт-бланш в обмен на поддержку генерального секретаря. Когда же Сталин достиг абсолютной власти, его политика в отношении Украины кардинально изменилась: "На первый план вышел иной фактор – потенциальная угроза сепаратизма, какую могла ощущать Москва из-за самого факта существования мощного регионального центра ее собственной власти в Харькове" [11]. Украинский историк отмечает еще одну принципиальную особенность советской политической системы, состоявшую в большом влиянии политики центра на местах. Пока существовала единая партийная система (а Ленин предпринимал немало усилий для того, чтобы помешать "национально ориентированным большевикам" организовать самостоятельные коммунистические партии), страна сохраняла единство независимо от всякого рода экспериментов в национально-государственном строительстве [9. № 4. С. 66].

Действительно, при наличии единой структуры, контролировавшей экономические, политические, социальные, культурные процессы в стране, правящая верхушка могла позволить себе некоторые уступки национал-коммунистам в обмен на необходимую Москве политическую стабильность в республиках. Однако как для московского, так и для харьковского руководства украинизация отнюдь не всегда была политической игрой. Необходимо учитывать идейно-политические расчеты как центрального, так и республиканского партийного руководства. Республики нередко стремились ограничить сферу влияния центральных органов на своей территории, что наталкивалось на противодействие Москвы. Для удержания национально-культурных процессов в необходимых границах центральные власти балансировали между "великодержавным шовинизмом" и "украинским национализмом". Об "опасности с двух сторон" говорилось с самого начала курса на коренизацию: Сталин выдвинул это положение еще на XII съезде, одновременно с провозглашением новой национальной политики. На эту особенность "сталинизации" межнациональных отношений обращают особое внимание украинские ученые [10. С. 205–207].

Указывая на прагматичность как принципиальную черту большевистской национальной политики, необходимо помнить и о неугасших еще в 20-е годы надеждах на мировую революцию. Если на пролетарскую революцию в индустриальных странах в ближайшее время рассчитывать не приходилось, то победа революционного движения в колониальных странах представлялась большевикам вполне реальной. Национальная политика в СССР должна была способствовать "революционному пробуждению".

Действительно, курс на украинизацию позволял большевистскому руководству заявлять о "решении национального вопроса в СССР" и обличать национальный гнет в Польше, Чехословакии, Румынии [7. С. 97]. Советская Украина могла вызвать симпатии как эмигрантов, так и населения бывшей Российской империи, оказавшегося в результате перипетий революции в составе других государств. Деятели украинской культуры в эмиграции позитивно восприняли курс на украинизацию [12. С. 19]. Среди реэмигрантов, вернувшихся на родину после провозглашения курса на украинизацию, было много инженерно-технических работников, представителей творческой интеллигенции из западноукраинских земель.

Таким образом, совокупность многих факторов – ситуация на Украине и в других национальных республиках, расстановка сил в центре, внешнеполитические расчеты – способствовала выработке политики украинизации.

Большинство украинских историков (Г.М. Васильчук, В.О. Кондратюк, О.Ю. Зайцев и др.) относят начало украинизации к 1923 г., ссылаясь на решения XII съезда РКП(б) о необходимости коренизации партийного и советского аппарата. Действительно, именно этот съезд партии положил начало интересующей нас кампании. Однако другие историки справедливо полагают, что истоки большевистской политики украинизации необходимо искать раньше. Так, В.М. Даниленко, Г.В. Касьянов и С.В. Кульчицкий в своей монографии указывают на значение резолюции "О Совет-

ской власти на Украине", принятой пленумом ЦК РКП(б) 29 ноября 1919 г. Данная резолюция, считают они, послужила стимулом к национально-культурному возрождению, дала начало процессу, «получившему в истории название "украинизации"» [10. С. 251]. На этот же документ ссылается В.А. Чехович, анализируя партийные решения относительно украинизации [13. С. 3].

Рассматривая становление политики УССР в области национальной культуры в начале 1920-х годов, О.А. Кручек отмечает, что национальная культура воспринималась как "пройденный этап" общественного развития и считалась пригодной лишь в качестве инструмента пропаганды коммунистических идей. С этой точки зрения исследователь оценивает основные постановления и мероприятия большевиков, касавшиеся украинского языка: "Хотя новое правительство приняло в этот период ряд декретов и постановлений в пользу украинского языка, в действительности они так и не были введены". Госаппарат продолжал пользоваться русским языком, украиноязычная пресса была минимальной, украинский язык в качестве основы обучения оставался лишь в сельских школах. Словом, политика в 1920–1922 гг. была нацелена на подавление национальной культуры. В 1922–1923 гг., когда в условиях нэпа началось "стихийное национально-культурное возрождение", большевики вынуждены были изменить тактику [14. С. 9, 42–43].

О.А. Кручек не ставит задачи проследить украинизаторские начинания более раннего времени, как это делают другие исследователи. В частности, С. Кульчицкий отмечает: "УНР времен Центральной Рады и Директории или Украинское государство гетмана П. Скоропадского не имели ни возможностей, ни достаточного времени, чтобы преодолеть наследие многовековой русификаторской политики царизма. УССР имела для этого и время и соответствующие возможности, воплощенные в курсе на украинизацию" [9. № 5. С. 61]. Данный тезис заслуживает особого внимания, поскольку взаимосвязь между украинизацией, проводимой в 1917–1918 гг., и украинизацией в УССР обычно не попадает в поле зрения исследователей. Изучение национальной политики указанного периода на Украине поможет точнее уяснить мотивы проведения большевиками политики коренизации и выявить ее специфику. В данной связи следует упомянуть статью Д.Ф. Розовика, посвященную периоду существования Центральной Рады. Автор выделяет основные направления ее политики в интересующей нас области: "создание основ новой национальной школы", украинизация учебных заведений, государственных учреждений, органов печати, учреждений культуры [15].

Политика украинизации была неоднозначно воспринята различными слоями населения. Одни встретили ее восторженно, другие – скептически. Были у нее и явные противники. Я.Р. Дашкевич различает "кадры украинизации" и "противников украинизации" в 20-е годы. К первым историк причисляет значительную часть украинских коммунистов, в том числе бывших боротьбистов и укапистов (украинских левых эсеров и социал-демократов, примкнувших к большевикам), а также реэмигрантов. Кроме того, к союзникам украинизации принадлежало большинство литераторов и экономистов. В лагерь противников украинизации Я.Р. Дашкевич включает: верхушку КП(б)У, российскую бюрократическую верхушку, "обрусевшее мещанство" и "обрусевший пролетариат", Красную Армию, представителей русской интеллигенции (Луначарский, Горький, Гладков), значительную часть еврейской интеллигенции и наконец Русскую православную церковь. Противники украинизации так или иначе были связаны с Россией. Например, в высшем республиканском руководстве украинцев было меньше, нежели представителей других национальностей, а крупные чиновники зачастую подчинялись непосредственно Москве. Городское население и пролетариат Украины находились под влиянием русификаторских традиций и были убеждены в "исключительности (культурной, революционной), престижности всего русского", еврейская интеллигенция хранила верность "ассимиляторской москвофильской платформе" [5. С. 58–60].

Другой исследователь также указывает, что украинская интеллигенция одобряла

украинизацию, тогда как многие служащие отнеслись к ней либо негативно, либо индифферентно. Не приняли идею украинизации инженерно-технические работники, профессорско-преподавательский состав вузов. По мнению Г.В. Касьянова, большое влияние на то или иное отношение к новым политическим веяниям имела степень обрусения различных слоев населения Украины [3. С. 76].

Таким образом, ученые выявляют различные точки зрения на необходимость развития украинской культуры. В первую очередь речь идет о партийных и советских работниках. В качестве примера негативного отношения к украинизации обычно приводится "теория борьбы двух культур" секретаря ЦК КП(б)У Д. Лебеда, настаивавшего на приоритетном развитии русского языка и культуры на том основании, что их носителем выступает передовой класс – пролетариат, тогда как украинский язык и культура связаны с отсталым селом [3. С. 74–75].

Противоположную роль в генезисе концепции коренизации сыграли национальные чаяния части украинских коммунистов. Г.В. Касьянов отмечает наличие в КП(б)У хотя немногочисленных, но влиятельных лиц, требовавших "национального самоопределения (социалистического) Украины". "Правда, большинство из них были выходцами из небольшевистских партий (А.Я. Шумский, Г.Ф. Гринько, В. Блакитный и т.д.), но сами они были в состоянии содействовать решению национальной проблемы большевиками" [3. С. 71].

В украинской исторической литературе как правило подчеркивается, что в начале 20-х годов "компартия оставалась в значительной степени чужеродным телом в украинском обществе и опиралась в первую очередь на неукраинские элементы, которые преобладали среди промышленного пролетариата" [16. С. 14]. Хотелось бы высказать сомнение по поводу корректности подобной постановки вопроса, попытки возложить ответственность за деяния большевиков на некие "неукраинские элементы". Основной опорой большевиков являлся рабочий класс независимо от его национального состава. Русское же крестьянство было не в меньшей степени недовольно большевистской аграрной политикой, чем украинское. Сложно поэтому утверждать, что где-то партия воспринималась как "чужая", а где-то была "своей": она всегда занимала особое место в советском обществе.

Рассматривая позиции сторонников украинизации, исследователи подчеркивают положительную роль в 20-е годы интеллигенции в УССР. Следует отметить в данной связи работу Г.В. Касьянова [3]. Подчеркивается также роль в украинизации тех представителей западноукраинской интеллигенции, которые одобрительно восприняли новый партийный курс и решили связать свою дальнейшую судьбу с Советской Украиной. Привлечение западноукраинской интеллигенции к "обслуживанию потребностей индустриального и культурного строительства на Советской Украине отвечало интересам партийно-государственного руководства УССР", – отмечают О.С. Рублев и Ю.А. Черченко. Это способствовало повышению авторитета большевиков, стремившихся представить Советскую Украину неким "Пьемонтом всего украинского народа", и, в свою очередь, давало новый импульс украинизации [12. С. 45].

Однако широкое использование украинского языка для "социалистического воспитания" масс не могло не вызвать негативной реакции со стороны неукраинского городского населения. Если в начале XX в. село оставалось преимущественно украинским, то в городах проживало значительное число представителей других национальностей, прежде всего русских и евреев. При этом чем крупнее был город, тем меньше проживало в нем украинцев. Только в небольших, до 10 тыс. жителей, городах украинцы составляли большинство. В значительных городских центрах их процент был весьма скромен [17. С. 28]. В зависимости от степени урбанизации менялся национальный состав населения различных регионов Украины. В степи наименее чувствовалось национальное движение, которое развивалось в первую очередь на центральных украинских территориях [17. С. 19]. Возможно, дальнейшие изыскания помогут разобраться в столь сложных вопросах, как национальное самосознание украинцев в 1910–1920-х годах, политика украинизации, реальное воплощение боль-

шевистского курса в городе и деревне. В украинской историографии перечисленные проблемы пока не получили должного освещения.

Анализируя отношение различных социальных групп к украинизации, историки зачастую уделяют мало внимания настроениям самого многочисленного, крестьянского населения Украины. Современная украинская историография не рассматривает реакцию крестьянства различных регионов Украины на введение украинского языка в школах, в делопроизводстве, на армейской службе. Между тем реакция сельских жителей пограничных с РСФСР областей отнюдь не была идентична реакции населения западных регионов Украины. В первых давали о себе знать культурная ассимиляция и высокий процент этнических русских.

Нельзя забывать, отмечает В.М. Даниленко, что новая политика служила цели большевизации просвещения, науки, культуры и воспитания "нового", советского человека [7. С. 97]. Данное обстоятельство тем более важно, что украинизация создавала благоприятные условия для активизации национально-культурных тенденций, не всегда укладывавшихся в русло официальной идеологии. "Явления, которые не поддавались контролю государства и партии, либо... выходили из-под контроля, становились объектами репрессивной политики", – указывает Г.В. Касьянов [3. С. 79]. Впрочем, идеологизация культурной жизни являлась неотъемлемой чертой партийной политики, и поэтому в данном случае репрессии на Украине представляли собой вполне ординарное, а отнюдь не исключительное явление. Об этом следует помнить украинским историкам, когда они в качестве примера большевизации "сферы культурной жизни" Украины в 20-е годы приводят Академию наук УССР – "фактически единственный... национальный научный центр". Усилиями украинского партийного руководства академическая наука все больше "утрачивала свою независимость, свободу мысли, идеологизировалась, ... оплеталась марксистско-ленинскими догмами" [7. С. 101]. В действительности политика большевиков в отношении республиканской Академии наук была лишь частью более обширных партийных планов. Во второй половине 20-х годов ЦК ВКП(б) проявляет повышенное внимание к автономии Академии наук СССР, стремясь подчинить ее своему влиянию.

Таким образом, пишет В.М. Даниленко, параллельно с процессом «партийно-чиновничьей "украинизации" шел процесс советизации, большевизации просвещения, науки и культуры» [7. С. 103]. Отмечая административно-приказной характер украинизации, историк делает вывод о том, что украинизация "по-советски" объективно создавала основу для развертывания "полномасштабной русификации". Украинцев в 20-е годы продолжали активно приобщать к русской культуре: процент начальных и средних школ, обучение в которых велось на русском языке, не соответствовал проценту русского населения на Украине [7. С. 99, 103]. В.Г. Шарпатый подчеркивает, что Москва стремилась перевести часть учебных заведений Украины в союзное подчинение и таким способом легализовать русификацию [18. С. 38]. В современной российской историографии дается прямо противоположная оценка политики коренизации. Говорится о том, что последняя "на практике нередко оборачивалась ущемлением прав русских" (увольнение русских служащих или более низкая оплата труда, например русских культработников в УССР по сравнению с украинцами) [19. С. 301–302]. В данном случае следует по-иному подойти к культурной политике большевиков, основное внимание уделяя ее социально-политическому характеру, а не рассматривать ее как "кару за национализм".

Отношение к украинизации в определенной степени зависело от позиции первого секретаря ЦК КП(б)У. До апреля 1925 г. партийную организацию Украины возглавлял "интернационалист" Е. Квириг. "Поглощенный партийной борьбой в Москве, он уделял мало внимания украинизации" [20. С. 204]. Г.В. Касьянов отмечает противодействие украинизации со стороны служащих государственных учреждений, низового партийного аппарата, вследствие чего темпы украинизации не соответствовали запланированным. Отчасти это объяснялось также отсутствием соответствующей терминологии на украинском языке. "Административно-аппаратная украин-



низация" ускорила с приездом на Украину в качестве главы КП(б)У Л.М. Кагановича, установившего жесткий контроль над изучением украинского языка служащими и украинизацией учебных и просветительских учреждений [3. С. 77–78]. Силловые методы Кагановича приводили к смещению украинизации из сферы культуры в сферу идеологии. Исходя из сталинской "теории" "обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму", Каганович обосновал тезис о том, что на Украине в условиях диктатуры пролетариата "буржуазно-националистическая идеология" и "национальная культура" все более приходят в противоречие с пролетарской идеологией и культурой [21. С. 83–84].

Украинские ученые подчеркивают, что "украинизация не означала принудительной денационализации меньшинств, напротив, она сопровождалась созданием самых благоприятных условий для их развития" [16. С. 17]. Последнее делалось как во избежание возможных обвинений со стороны противников украинизации, а также для того, чтобы "вырвать меньшинства из объятий русификации" [16. С. 61].

Реализуемая большевиками политика коренизации не могла не оказать влияния на общественно-политическую ситуацию в республике. Украинизация не только создала благоприятные условия для развития национальной украинской интеллигенции, но и делала возможным появление в среде украинских коммунистов "национальных уклонов" вроде "шумскизма". Идеям и судьбе А. Шумского, Н. Хвылевого и М. Волобуева в украинской исторической литературе уделяется много внимания. "Шумскизм", "хвылевизм" и "волобуевщина" расцениваются как проявления "национал-коммунистических тенденций". При этом указывается, что представители "национал-коммунизма" на Украине "пытались соединить коммунизм с национально-освободительной борьбой" [16. С. 19]. Убежденные коммунисты, Шумский, Хвылевой, Волобуев осуждали "русский шовинизм" и централизм разными методами: с помощью "партийной критики" (как нарком просвещения Шумский), посредством "экономического обоснования" (как это делал экономист Волобуев) или облачая свои аргументы в одежды литературной критики (писатель Хвылевой). Высокую оценку получила деятельность на посту наркома просвещения Украины Н. Скрыпника. Хотя Скрыпник "фанатично верил в коммунистические иллюзии" и рассматривал украинизацию "с точки зрения большевистского интереса", он внес значительный вклад "в процесс национально-культурного возрождения Украины в период 20-х годов" [18. С. 42].

Современные украинские ученые достаточно подробно анализируют законодательные акты и основные мероприятия по развертыванию украинизации. Приводятся статистические данные, убедительно свидетельствующие о росте удельного веса украинцев в партийных организациях, в советских учреждениях, учебных заведениях и т.п. Отмечаются новые "оригинальные явления" в украинской литературе и искусстве [3; 13. С. 3–25]. Имеется опыт рассмотрения процесса украинизации в отдельных регионах республики. Л. Сурабко, опираясь на местный архивный материал, анализирует основные мероприятия черниговской парторганизации по "внедрению в жизнь планов партии" [22. С. 6–11]. Региональное направление в исследовании проблемы представляется весьма перспективным, так как позволяет выяснить, насколько эффективно шла работа на местах.

Украинизация, несомненно, способствовала национально-культурному возрождению Украины. Этой точки зрения придерживается большинство украинских авторов. Так, Г.В. Касьянов считает, что украинизация шла параллельно с процессом национально-культурного возрождения, "начатого национальной интеллигенцией", и создала "благоприятные условия для этого национально-культурного возрождения" [3. С. 81].

Историки отмечают принципиальные изменения, произошедшие в национальной политике центра в начале 30-х годов. Если в период нэпа утвердилась "независимость, децентрализация управления культурой", все сферы которой находились в компетенции республиканских народных комиссариатов просвещения, то рубеж 20–30-х годов стал временем унификации культурного строительства [16. С. 235–237]. Основной



опасностью начинает считаться "местный национализм". Таким образом, разгром "национальных уклонов" знаменовал собой переход от "либерального периода нэпа к эпохе террора и открыто имперской политике" [16. С. 19]. Совершенно справедливо фиксируя изменение социально-политической ситуации в 30-е годы, В.О. Кондратюк и О.Ю. Зайцев, однако, порою забывают, что репрессии носили общий, так сказать, "интернациональный" характер, определяемый классовым подходом властей, а "националистические группировки" нередко существовали лишь на страницах следственных дел.

Миссия искоренения "украинского буржуазного национализма" была поручена одному из "верных соратников" Сталина П.П. Постышеву, направленному в 1933 г. на Украину в качестве второго секретаря ЦК КП(б)У. Хотя украинизация официально никогда не отменялась, начинаются ее формализация и свертывание. Обычно главное внимание в украинской исторической литературе уделяется партийным чисткам 1933–1934 гг. и массовым репрессиям против "украинских националистов", обвиненных в срыве хлебозаготовок на Украине в 1932–1933 гг.

В.М. Даниленко отмечает, что украинская интеллигенция – «проводник и реализатор "украинизации", важнейший ее фактор и катализатор» – была практически уничтожена, руководившие украинизацией партийные и советские работники арестованы, затем расстреляны либо сосланы [7. С. 104–105]. Под жесткий партийный контроль ставятся средства массовой информации, книгоиздательская деятельность, учебные и культурно-просветительные учреждения. Усиление централизации и русификации приводило к сужению сферы использования украинского языка [7. С. 111].

Завершение украинизации датируется 1938 годом, когда русскоязычная газета ЦК КП(б)У "Советская Украина" была уравнена в правах с украиноязычным "Коммунистом" и было принято постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома "Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей". Между тем указанное постановление нельзя расценивать как введение обязательного изучения русского языка [7. С. 111]. Такая обязательность существовала и раньше. В новых предписаниях, сохранивших традиционную формулировку о родном языке как "основе преподавания в национальной школе", увеличивались нормы преподавания русского языка (не со 2-го или 3-го класса, как это было до того, а с 1-го), что резко изменило соотношение языков в школьном обучении (см. [23. С. 124]).

Таким образом, украинизация рассматривается современными украинскими исследователями как один из важнейших факторов общеполитического развития межвоенной Украины. Делаются попытки соотнести ее с национально-культурным возрождением 1920-х годов и противопоставить волне русификации 1930-х. Официальная партийная политика, по мнению украинских ученых, являлась в значительной мере реакцией на активизацию национальных процессов в стране и обладала по преимуществу регулируемыми функциями. Но так как основное внимание историками уделяется выработке концепции национальной истории, это обстоятельство зачастую мешает объективно соотнести события, имевшие место на Украине, с общесоюзными тенденциями. При этом часто таким общесоюзным тенденциям, как усиление централизации и репрессий, придается региональный характер. В то же время исследователи в целом верно оценивают причины украинизации, выявляют различные позиции украинских большевиков по отношению к национальной политике.

Украинским историкам удалось по-новому взглянуть на столь важный социально-политический и культурный феномен, как украинизация, ввести в научный оборот большое количество нового фактического материала. Однако нельзя не согласиться с выводом В. Коцура о том, что сегодня исследователи находятся лишь в начале большой работы "по раскрытию многогранных и противоречивых общественно-политических процессов украинского ренессанса XX столетия [1. С. 295].

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Коцур В. Вплив українізації на розвиток освіти в 20-ті рр. ХХ ст. Історіографія проблеми // Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць. Київ; Чернівці, 1997. Вип. 1.
2. Лоцицький В.С. Політика українізації в 20–30-х роках: історія, проблеми, уроки // Український історичний журнал. 1989. № 3.
3. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920–30-х років: соціальний портрет та історична доля. Київ, 1992.
4. Васильчук Г.М. Українізація: погляд крізь роки // Рідна школа. 1992. № 1. С. 49–51.
5. Дашкевич Я.Р. Українізація: причини і наслідки // Слово і час. 1990. № 8.
6. Даниленко В.М. "Українізація" 1920-х рр. і сьогодні // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22–28 серпня 1993 р. Львів, 1994.
7. Даниленко В.М. Згортання "українізації" й посилення русифікаторських тенденцій у суспільно-культурному житті радянської України в 30-і рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Київ, 1996. Вип. 2. С. 96–115.
8. XII съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1968.
9. Кульчицкий С.В. У площині державного співіснування. Радянська Україна і Радянська Росія: відносини між першою і другою світовими війнами // Політика і час. 1996.
10. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицкий С.В. Сталінізм на Україні. 20–30-ті роки. Київ, 1991.
11. Кульчицкий С.В. Украинизация 20-х годов: формы, суть, последствия // Родина. 1999. № 8 (в печати).
12. Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західно-української інтелігенції 20–50-ті роки ХХ ст. Київ, 1994.
13. Чехович В.А. Державно-правові питання українізації в 20-х роках // Чехович В.А., Касьянов Г.В., Ткачова Л.І. Держава і українська інтелігенція (деякі проблеми взаємовідносин у 20-х – на початку 30-х років). Київ, 1990.
14. Кручек О.А. Становлення державної політики УСРР у галузі національної культури (1920–1923 рр.). Київ, 1996.
15. Розовик Д.Ф. Центральна Рада й українська культура // Український історичний журнал. 1993. № 2/3. С. 17–27.
16. Кондратюк В.О., Зайцев О.Ю. Україна в 20–30 рр. ХХ століття. Суспільно-політичне життя ХХ століття. Львів, 1993.
17. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. Київ, 1997.
18. Шарпатов В.Г. Участь М.О. Скрипника в українізаційних процесах 20-х років // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Київ, 1996. Вип. 2. С. 33–43.
19. Национальная политика России: история и современность. М., 1997.
20. Історія України: нове бачення. Київ, 1996. Т. 2.
21. Даниленко В.М. Українізація: здобутки і втрати (20–30 р.) // Проблеми історії України: факти, суждення, пошуки. Київ, 1992. Вип. 2. С. 79–91.
22. Сурабко Л. Українізація на Чернігівщині в 20–30-ті роки // Сіверянський літопис. 1997. № 5. С. 6–11.
23. Алпатов В.М. Языковая политика в СССР в 20–30-е годы: утопии и реальность // Восток, 1993. № 5. С. 113–124.



© 1999 г. В.И. ФРЕЙДЗОН

## О ХОРВАТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1950–1980-х ГОДОВ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЮГОСЛАВИИ

Хорватская литература 1950–1980-х годов по национальной идеологии до 1918 г. значительна. В настоящей статье на основе наиболее важных трудов нескольких ведущих по теме ученых (Я. Шидак, М. Гросс, Р. Ловренчич, Н. Станчич) излагаются взгляды историков на эволюцию национальных идей до образования Югославии (см.: [1]). В этот период, как и ранее, в межвоенный (1918–1941) и довоенный (до 1914 г.), историография была связана с насущными проблемами политической жизни хорватского общества.

В Хорватии в национально-интеграционной идеологии XIX – начала XX в. имелись два течения: 1) югославизм, популярный с 1830-х годов среди части дворянства и интеллигенции (под названием иллиризма), а с 60-х годов XIX в. – в кругах либеральной духовной (католической) и светской интеллигенции, а также более богатой буржуазии (основатели: в 30-х годах XIX в. – Л. Гай, в 60-х годах – Ф. Рачкий и Й.Ю. Штросмайер); 2) с 50-х годов XIX в. – мелкобуржуазное старчевичанство (по имени его основателя – А. Старчевича). Эти течения можно рассматривать и как две разные идеологии.

В 90-х годах XIX в. в социальной основе и взглядах представителей обоих течений произошли важные перемены. Сторонники хорватского югославизма считали политическое сплочение этнически родственных народов (или "племен" одного народа) на основе компромисса – в особенности с сербами – благоприятным условием упрочения позиций складывающейся хорватской нации. Старчевичанство же в первоначальном варианте (50–80-е годы XIX в.) рассчитывало на создание возможно более крупного суверенного Хорватского государства.

В 20–30-х годах XX в. в монархической Югославии, где под флагом "интегрального" югославизма (теории единого народа) фактически существовал великосербский унитарный режим, югославизм потерпел идейно-политический крах. В СФРЮ, после федерализации страны и социального переворота, с ее авторитарным строем реформированный югославизм стал официальной идеологией. Кроме того, государственно-правовая структура СФРЮ (шесть союзных республик и два автономных края; признание равноправным народом боснийских мусульман) контрастировала с довоенной. Поэтому первоначально югославизм вдохновил большинство хорватской научной интеллигенции. Однако с течением времени, особенно с середины 60-х годов XX в., все больше внимания стало привлекать старчевичанство, что явилось одним из свидетельств подспудного нарастания предпосылок кризиса югославской федерации. Но и в

работах о югославизме делался акцент на *равноправное* объединение югославских государств.

Загребский профессор В. Богданов одним из первых высказался по проблемам югославизма [2]. Автор придерживался вульгарной схемы: при феодализме буржуазия "и ее интеллигенция" были революционными и патриотическими, а при капитализме, после 1848 г., – реакционными и анациональными. Отметив роль торговли в межюгославянских связях, В. Богданов полагал, что она сплачивала "наши народы в... единую южнославянскую нацию". Следуя своей схеме, он оценил иллиризм 30–40-х годов XIX в. как революционное движение (поскольку оно было югославистским), а идейные последствия более явного после 1848 г. процесса складывания хорватской нации как "националистического сепаратизма", "порабощающий австрофильский югославизм" и хорватский гегемонизм. Против австрославизма и югославизма выступил А. Старчевич, которого автор считал представителем "народа" [3]. В дальнейшем, по Богданову, сербская династия Карагеоргиевичей (1918–1941) "разбила югославянское национальное единство". По вине буржуазии национальное развитие югославян шло "по реакционному, ненормальному, сепаратистскому пути". В. Богданов пытался поддержать инерцию "интегрального югославизма" и смешивал необходимое в определенных условиях стремление к сотрудничеству между югославянами с формированием единой нации. Его взгляды были раскритикованы<sup>1</sup>. Свою концепцию В. Богданов развивал, вопреки фактам, и в другом труде [5]. Что касается правшей 50–60-х годов, то их великохорватские взгляды Богданов объяснял стремлением освободить югославян от иноземного гнета и сплотить их "под хорватским именем". По Богданову, Старчевич выступал не против сербского народа, а только против его этнонима. Данную казуистику Богданов заимствовал у некоторых авторов начала XX в., в особенности сербского публициста и литературного критика Й. Скерлича [6].

Но В. Богданов – исключение. Тщательное изучение фактов, абсолютное знание историографии в дальнейшем стали правилом хорватских специалистов.

Исследование ранней стадии югославизма – иллиризма много лет осуществлял старейшина хорватских историков Я. Шидак (1903–1986). Главную черту иллиризма, "с 1835 по 1848 гг. создававшего основы национального сознания хорватов", Шидак видел в "идее национального единства южных славян" и объяснял это "кажущееся противоречие" этнополитической ситуацией в хорватских землях и южнославянском ареале. "Под мертвым и чуждым народу наименованием" ("иллиры". – В.Ф.) деятели иллиризма "решали жизненные проблемы формирующейся нации". Шидак привел воспоминание иллира Б. Шулека: "в Хорватии многие пользовались иллирским именем не из убеждения в его годности, но чтобы не сорвать согласие, которое крепло под этим знаменем". Но всеобщее хорватско-сербско-словенское "согласие" (сближение не только в сфере культуры, но и национального самосознания) не состоялось.

В ряде статей о югославянской идее (1965, 1966 [7; 8]) Шидак полемизировал как с представлением, будто эта идея – преходящее и "даже вредное явление" у иллиров, так и с мнением, будто борьба за единство хорватских земель была для иллиризма "несущественной". Автор отмечал, что иллиризм и хорватизм (кroatизм) органично связаны. Я. Шидак утверждал, что иллиризм провозглашал единение южных славян на основе равноправия, т.е. иллиры реально отстаивали интересы "ветвей" (частей) "южнославянского народа", т.е. прежде всего хорватов. Со своей стороны добавим, что не было югославизма "вообще", а были хорватский, сербский, словенский югославизмы с присущими им национальными интересами. Можно сказать иначе: существовали национальные варианты югославизма.

В 1848 г. иллиры, ставшие называть себя народняками, подчеркнули политические цели движения. Л. Гай отстаивал федерализацию Австрийской империи на

<sup>1</sup> А. Старчевич сочувствовал страданиям массы бедноты, но не выдвигал аграрной программы [4]. Правда "пост фактум" он считал, что в 1848 г. было бы справедливым отдать крестьянам их наделы без выкупа.

этнической основе [9] и "братство сербов и хорватов". Во время революции было покончено с оттеснением на задний план подлинных этнонимов (хорваты, сербы). Возник равноправный союз Хорватии и Сербской Воеводины. Победа контрреволюции в Австрии, неудача проектов ее федерализации на основе равноправия народов, продолжал Шидак, наряду с наличием великосербской пропаганды привели к появлению великохорватской концепции А. Старчевича, опиравшейся, как, впрочем, и югославизм, на естественное и историческое право ("праваши"), и закреплению этнонима "хорват" как в среде югославистов, так и сторонников Старчевича. Шидак пытался обнаружить корни старчевичанства только в идейно-политической сфере (таков его традиционный метод), но он и сам публично признал недостаточность такого подхода<sup>2</sup>.

Понять старчевичанство можно, лишь опираясь на анализ социальной ситуации мелкособственнических кругов Хорватии в модернизирующейся Австрийской империи. Конечно, огромную роль сыграло отсутствие у складывающейся хорватской нации сплошной этнической территории. Но реакция на данный факт была различной у либеральных имущих кругов и мелкой буржуазии, хотя и те и другие стремились преодолеть это неблагоприятное для хорватов обстоятельство. Первые – путем пропаганды "братства" или "тождества" с сербами (ввиду общности языка), а также выдвижения нейтральных этнонимов – "иллир" в 30–40-х годах", "югославянин" в 50–60-х годах и т.п., вторые – путем фронтального натиска на этноним "серб" в хорватских землях, в состав коих включали, как минимум, и Боснию. В 1850 г., отмечал Шидак, Старчевич выступил против принятого либералами-югославистами ("народняки") принципа языкового единства с сербами.

Историческая наука Хорватии долгое время придерживалась идеи югославизма, но, как мы отмечали, историки, особенно в 70-е годы, подчеркивали отстаивание югославистами XIX – начала XX в. равноправие народов. Это было откликом на общественное настроение в Хорватии.

Югославизм, переживший упадок в 70–80-х годах XIX в., стал возрождаться примерно с середины 90-х годов XIX в. Этот процесс был связан как с социальными сдвигами в Хорватии – развитием либеральной банковско-промышленной буржуазии и примыкавшей к ней интеллигенции, а также неимущего студенчества и социалистического движения, так и с кризисом дуалистического устройства Австро-Венгрии, наконец, с международным положением. Хорвато-сербское сближение, поиски союзников в среде венгерской оппозиции – все это в начале XX в. получило наименование "нового курса", антигабсбургского по содержанию.

Р. Ловренчич [12] обстоятельно исследовал экономические истоки "нового курса". Новое поколение буржуазной оппозиции, отметил он, значительно расширило интерес к социально-экономической проблематике. Хорватская и сербская банковско-промышленная буржуазия с тревогой следила за экономической экспансией Германии и Австро-Венгрии на Юго-Востоке, за которой должна была последовать экспансия политическая. Хорватов и сербов, по словам автора, сближало сходство взглядов на будущее государства Габсбургов, неприемлемое для обеих наций. Автор подчerkнул, что в результате "нового курса", этого нового оживления югославизма, политическая обстановка в Хорватии вышла из стагнации и "в преобладающей части вырвалась из клещей национальной исключительности". Последнее свидетельствует о появлении движения, которое открыло возможности возникновения Югославии.

Труд М. Гросс о хорватско-сербской коалиции 1905 г. – наиболее ранняя послевоенная монография о югославизме [13]. По мнению автора, ближайшей целью коалиции были либеральные реформы и присоединение Далмации, но радикальные круги имели отдаленной целью "экономическую самостоятельность" и, наконец, "независимое

<sup>2</sup> Исключительно важной является статья Я. Шидака о периоде созревания иллиризма (см.: [10]). Наконец, в вышедшем посмертно труде, большую часть которого создал Я. Шидак, в характеристике положения хорватских земель накануне и во время иллиризма, должное место занимают социальные проблемы, увязанные с политическими и идейными (см.: [11]).

югославское государство". Коалиция провозгласила хорватско-сербское национальное единство. В коалиции был принят термин "хорватский и сербский народ" – один народ с двумя названиями. Это встретило возражения со стороны некоторых сербских и хорватских группировок. Но коалиция просто подчинила идеологию политическим целям.

Достоинством работ Р. Ловренчича и М. Гросс стал анализ социальных корней хорватского югославизма начала XX в. В дальнейшем этот плодотворный метод М. Гросс применила при изучении эволюции старчевичанства. Вслед за монографией о коалиции появилась ее работа о политике властей в Хорватии и хорватско-сербских отношениях накануне аннексии Боснии [14].

С середины 50-х годов М. Гросс стала публиковать статьи о социал-демократии Хорватии. Автономия Хорватии, показала она, свидетельствовала о недостаточности австромарксистского сведения национальных проблем к языково-культурной сфере. В ранний период их деятельности социал-демократы выступали за расширение автономии Хорватии на область финансов, и при этом стремились вовлечь в борьбу за демократию массу народа, в том числе крестьянство. Позднее появилась и идея культурного единения южных славян, что привело к программе решения национального вопроса в империи путем культурной автономии всех народов в демократическом государстве. В социалистической среде Хорватии и Словении утвердилась идея "конституирования" национального единства (слияния югославян в один народ) (1909) [15]. Это был вариант утопического интегрального югославизма.

В дальнейшем М. Гросс расширила хронологические рамки исследований национальных идеологий, охватив весь период 1850–1914 гг. Исследовательница опубликовала свои выводы относительно эволюции социально-экономической структуры Хорватии в этот период [16]; характеристика идейно-политической борьбы увязывалась ею с этими наблюдениями. Автор сделала вывод о наличии у хорватов двух национально-интеграционных идеологий (о которых мы упоминали). Их развитие было показано Я. Шидаком, М. Гросс, И. Караманом и Д. Шепичем в стабильном историческом пособии (1968) [17].

В первые два послевоенные десятилетия в условиях федеративного государства внимание хорватских историков было обращено на югославистские традиции (работ о правашах почти не было, хотя официального "табу" на эту тематику не накладывалось) [18]. К концу 60-х годов в хорватском обществе определенно выявилось недовольство состоянием межреспубликанских отношений, что нашло свое отражение в историографии. В 1971 г., во время напряженной политической обстановки, появились "политические сочинения" югославистов Й.Ю. Штройсмайера и Ф. Рачкого, правшей А. Старчевича и Э. Кватерника [19]<sup>3</sup>. О многом говорит содержание предисловий к ним В. Кошчака, Т. Ладана и Л. Кунтич. В. Кошчак обоснованно объясняет появление идеологии югославизма тяжелым, сложным положением хорватов, но считает, что "лекарство", предлагавшееся югославистами, подчас было "опаснее болезни", так как грозило игнорированием самобытности нации и растворением хорватов в "универсальном" объединении. "Здоровые силы хорватской народной массы смогли преодолеть опасности, коими была чревата такая концепция". Народ создал нацию в "диалектической борьбе" с югославистской концепцией. Тем не менее, идея югославизма "смогла объединить югославские народы", и ныне появилась возможность "приступить к окончательному взаимному соглашению на основе суверенного права каждой нации на свое государство. Только в этом может быть ее (югославянской идеи. – В.Ф.) исторический смысл и оправдание" [19. С. 42–43]. Итак, автор оправдывает югославизм и создание СФРЮ возникновением условий для борьбы за национальный суверенитет. Мысль по тем временам смелая и достойная внимания.

<sup>3</sup> В указателе "наиболее значительной литературы" (1945–1970) о Кватернике составительница последней публикации включила только несколько иностранных работ. Об А. Старчевиче новая литература практически отсутствовала.

Иное впечатление создается от предисловий к произведениям правашей. Т. Ладан пишет не только о "здоровом ядре учения" А. Старчевича [19. С. 75], но прямо обращается к современникам: "Когда сейчас люди сопротивляются централизму, этатизму, унитаризму, интеграционизму, когда (выступают) против властных привилегий одной нации в отношении другой, против теории ограниченного суверенитета в нашем отечественном варианте и т.п. – не родственно ли все это учению Старчевича?" [19. С. 58]. Л. Кунтич говорит о том, что Кватерник делал "великое дело", "представлял неизменную политическую идею", имел "ясную цель" (суверенитет Хорватии) [19. С. 63–64], за которую отдал жизнь. После выхода этих сборников стало появляться много статей и материалов, посвященных истории правашей [20].

В начале 70-х годов политическая оппозиция в Хорватии была временно приглушена. Эта весьма относительная стабилизация продолжалась до второй половины 80-х годов, в конце которых разразился общегосударственный кризис, ставший частью распада системы власти компартий и государственной экономики в странах Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы.

В политических условиях 70-х годов научный подход (как, впрочем, всегда) требовал честного объективного освещения прошлого. М. Гросс выступила с монографией, посвященной социальной и идейной эволюции старчевичанства во второй половине XIX – начале XX в. [21]. Достижение автора состояло в дальнейшей разработке мысли о связи идейной эволюции правашей, несмотря на ее относительную самостоятельность, с социальным развитием Хорватии во второй половине XIX – начале XX в. В связи с этими изменениями часть правашей постепенно повернулась в сторону сотрудничества с сербами против режима.

Вместе с тем М. Гросс продолжала заниматься идеологией югославизма в 1850–1914 гг. Главный идеолог югославизма историк и священник Ф. Рачкий (1828–1894) считал хорватов и сербов частями одного народа (на основе единства языка), разделенного по конфессиональному признаку. Рачкий, писавший о "хорватской, хорватско-сербской, южнославянской и славянской" семье, вместе с тем прежде всего заботился о "пробуждении" хорватского народа путем развития его культуры. Гросс сделала вывод: "Равноправное объединение южных славян в культурной сфере, не затрагивая их... особенности и этнонимы, – центральный постулат идеологии Рачкого, унаследованный от иллиров и выраженный еще сильнее" [22].

Программа иллиров (упрочение автономии Хорватии), по Рачкому, устарела: необходима "самостоятельная родина", "хорватское государство". Необходимо единение югославян в многообразии, но не "племенная крайность" (выпад Рачкого против великосербства и великохорватства. – В.Ф.). Теорию хорватско-сербского национального единства Гросс объясняет тогдашними интересами хорватов. Югослависты 60–70-х годов XIX в. были сторонниками федерации хорватского, сербского и словенского государств, предварительно укрепившихся в политическом и культурном отношении. Гросс отметила, что роль Сербии как объединителя югославян ("Пьемонта") Рачкий отрицал.

Впоследствии автор выявила материалы, свидетельствовавшие о глубоком понимании Рачким уже в 1859 г. (т.е. в конце периода неабсолютизма, до общественного подъема 60-х годов) национальных особенностей хорватов и сербов, различий между ними; Рачкий писал о недопустимости неуважения этих особенностей, попыток присвоения культурного наследия другого народа, об особом быте, религии, государственных традициях. Эти важные сведения о раннем этапе формирования хорватской нации, идеях югославизма и старчевичанства в 50-х годах XIX в. содержит труд Гросс [23] – подлинная энциклопедия проблем Хорватии периода австрийского неабсолютизма. За это исследование автор была удостоена австрийской премии.

Система Рачкого, ввиду ее сложности использовалась в старой Югославии для оправдания унитаризма и одновременно подвергалась критике как "антихорватская". Гросс пыталась на основе обширного материала показать хорватский патриотизм югослависта Рачкого. В условиях СФРЮ это означало, что возможен хорватский



патриотизм при сохранении какой-то формы югославского сообщества. Югославянские историографии, в том числе хорватская, насквозь политизированы.

М. Гросс исследовала нюансы югославизма накануне первой мировой войны – от идей равноправного объединения до "интегрального" югославизма, идейной основы политического унитаризма [24].

Среди работ М. Гросс выделяется аналитическая статья о соотношении двух хорватских национальных идеологий, их эволюции и взаимосвязях [25]. Мы не излагаем содержание статьи, поскольку имеется ее реферат [26]. Колоритная личность далматинца Ф. Супило (1870–1917) иллюстрирует эти процессы [27]. Начав как праваш, неприязненно относившийся к сербам, он, постепенно эволюционируя, в 1905 г. возглавил хорватско-сербскую коалицию, а во время первой мировой войны в составе эмигрантского Югославянского комитета, сохранив наследие правашей, рассматривал упрочение хорватской государственности (присоединение Словении и Боснии) условием равноправного объединения Хорватии с Сербией (т.е. пытался соединить старчевичанство и югославизм). Оставшись в изоляции, покинул комитет, лидер которого А. Трумбич, также являвшийся сторонником крепкого хорватского государства, все же выше всего ставил создание Югославии [28].

Особое место занимает монография П. Корунича, посвященная более благополучной теме хорватско-словенских отношений в рамках югославизма [29]. Хорватские югослависты постепенно пришли к признанию национальной самобытности словенцев (ввиду языкового отличия от хорватов).

Наиболее значительные труды по югославизму 60–70-х годов XIX в. в Далмации созданы сараевским профессором Р. Петровичем, сербом по национальности, и выходцем из Далмации, одним из крупных хорватских историков Н. Станчичем [30]<sup>4</sup>. Книге Р. Петровича посвящены рецензии [31]. Н. Станчич считал, что две идеологии хорватов различались тем, что югославизм (народняков) считал нацией южных славян, а правашаи – хорватов. У народняков хорватская идея со временем заменила южнославянскую, но при сохранении южнославянских рамок в помыслах о культурном и политическом единстве южных славян. Мы пытались показать (по крайней мере, если имеется в виду собственно Хорватия), что и в формулах хорватских югославистов (включая ранний этап – иллиризм), вопреки нечеткости фразеологии и колебаниям отдельных лиц, всегда проглядывали интересы хорватов [32]. К аналогичным выводам относительно иллиризма давно пришли Я. Шидак и наш историк И.Н. Лещиловская [1].

Что касается взглядов Н. Станчича на ранний югославизм в Далмации (60-е годы), то здешний материал свидетельствует о далеко зашедшей в приморских городах пропаганде идеи южнославянского национального единства. В частности, в 1862 г. начала выходить общая газета хорватов и сербов, где первоначально эти этнонимы не применялись и отставалась теория единого народа – "словенцев" (т.е. югославян на местном говоре). По мнению городских либеральных идеологов (народняков), это было необходимо для объединения сил против господства итальянского языка в культуре и администрации провинции.

Научная заслуга Н. Станчича в том, что он выделил два традиционно разных района Далмации: 1) район приморских городов (с их итальянизированным землевладельческим патрициатом и либеральной торговой буржуазией); 2) район более отдаленных от моря сельских местностей (Загора), долины р. Неретвы и небольшого приморского округа Макарска, где социальной силой являлось зажиточное крестьянство и опиравшееся на него католическое духовенство (преимущественно францисканцы). Крестьяне и монахи сохранили родной язык. Н. Станчич увязал развитие национально-интеграционной идеологии с социальной структурой двух указанных районов. Католики второго района относительно быстро восприняли хорватское самосознание, первый же район прошел от локального далматинского сознания через этап

<sup>4</sup> Программа М. Павлиновича 1869 г. была опубликована Н. Станчичем в 1972 г. (Historijski zbornik, 1970–1971), а ее анализ Станчичем см.: Historijski zbornik, 1972–1973.

"словинства". Здесь энтузиастам хорватского национального возрождения предстояло "славянизировать" города, завоевать местное самоуправление, что и было осуществлено к началу 80-х годов XIX в. Югослависты 60-х годов XIX в. пропагандировали создание обширной "словинской" национальной родины, включающей всех южных славян.

Главное внимание автор монографии уделит эволюции взглядов священника М. Павлиновича от словинства к хорватизму и тезису о связи хорватского самосознания с католицизмом (1867–1868). Программа Павлиновича 1869 г. включала стремление к объединенной Хорватии, включающей по меньшей мере часть Боснии; за сербами Хорватии признавалось право на религию, национальность, азбуку, правоспособность, но в рамках хорватского государства. Это была "программа радикального хорватизма в рамках югославизма" (Павлинович не отрицал возможности объединения в союзное государство сильных Хорватии и Сербии). Формула "хорват и католик" в этот период еще не была клерикальной.

Балканский кризис 1875–1878 гг. и сопровождавшее его обострение хорватско-сербских противоречий привели к концу "словинства". Югославизм такого рода не мог не потерпеть неудачу в связи с развитием хорватской и сербской наций и их государственно-территориальных претензий.

Симптомом развивающегося напряжения между историографиями республик СФРЮ стал ряд фактов. Прежде всего невозможность создать многонациональным коллективом историков текст по Новой истории народной Югославии (были изданы лишь два тома, посвященные средним векам). По многим вопросам возникли дискуссии. Например, по поводу упоминавшейся "Истории хорватского народа. 1860–1914" состоялся острый обмен мнениями между сербским историком А. Раденичем, обвинившем авторов в приукрашивании хорватской истории и ее деятелей, и М. Гросс [33]. С другой стороны, в Хорватии отрицательную оценку со стороны М. Гросс, В. Цилиги и Я. Шидака получил труд сербских авторов – однотомник "История Югославии" [34; 35]. Сербский историк старой ("романтической" сербско-югославистской) школы К. Милутинович издал книгу [36] об исторических связях Воеводины, сербского идеологического центра XVIII – 70-х годов XIX в., с Далмацией (где сербы составляли около  $\frac{1}{5}$  населения). Н. Станчич упрекал автора за идеализацию сербских деятелей, смягчение великосербских устремлений. За статьей сербского историка акад. Н. Крестича о Штросмайере, критиковавшего последнего за австрославизм и готовность поддержать экспансию Австрии на Балканы (1860), последовал ответ хорватского историка В. Цилиги, которая отметила, что во время Восточного кризиса 1875–1878 гг. Штросмайер выступал с идеей присоединения Боснии к Сербии или ее автономии [37].

В самой Хорватии усиливались критические голоса в адрес исторической науки, которая якобы не выполняла свой "долг перед народом". М. Гросс отметила, что часть историков обвиняют ее в подчеркивании всего плохого в хорватской истории (pegator) и "косметике сербского прошлого", тогда как другие – называют ее "последовательно тенденциозной" в приукрашивании истории хорватов и "недоброжелательной" в отношении сербского народа Хорватии [38]. В заявлении руководящего комитета Исторического общества Хорватии (18 XI 1971) отмечался поток упреков в адрес исторической науки. «Источники, побуждения и намерения этих осуждений парадоксальны. С одной стороны, ей приписывается поправление "национальных святынь", а с другой – консерватизм и буржуазно-националистическая направленность». Общество указывало на "историческое последствие этих... нападок и осуждений со стороны официальных и иных факторов..." [39, S. 645]. В письме большой группы историков обоснованно говорилось, что "хорватская историография после освобождения во многом начала с нуля" и достижения ее значительны. Наука "должна держаться фактов и толковать причины и последствия хода хорватской истории, а не возвеличивать или принижать историю своего народа" [39, S. 648].

Для историков, удерживавшихся на позиции защиты идеи полностью равноправной югославянской федерации, наступили трудные дни. Происходило испытание исто-

риографии на разрыв, ибо все более значительная часть хорватского общества переходила в оппозицию существующему порядку.

Сербский историк М. Экмечич, один из авторов упомянутой "Истории Югославии", в 1974 г. сказал вслух то, что было известно: исторической науке Югославии были присущи противоречия, особенно по проблемам новой истории. "Ничего необычного и неожиданного нет в том, что в этих вопросах в нашей историографии нет согласия. Согласия нет уже давно". Автор полагал, что "государственность республик оправдывается национальным правом на государственность со времен средневековья, а пугало унитаризма не позволяет упоминать и положительно оценивать создание общего государства в 1918 г." (курсив мой. – В.Ф.). Многочисленность критических выступлений в отношении "Истории Югославии" и отклик на них общественности свидетельствуют, по мнению Экмечича, что вопросы, о которых идет речь, выходят за рамки науки. Эта критика – плод определенной атмосферы" [40]. По существу споры вокруг исторических концепций переросли в политические.

В связи с нараставшей кризисной ситуацией хорватский культуролог П. Матвеевич пытался определить содержание интеграционных тенденций "современного югославизма" [41]. Основу югославизма он уже видел не в этническом родстве, а в интересах народов, в частности, в защите их общей безопасности. "Вне Югославии ни для кого из нас нет... позитивной альтернативы: национальной, государственной и социальной" [19. С. 9]. Но на Западе (а позднее – далее на Востоке) Европы после второй мировой войны произошли коренные изменения: малые народы избавились от страха поглощения их сильными соседями. Эти опасения были одним из факторов, сплотивавших монархию Габсбургов в XIX в., монархию Карагеоргиевичей в 1918 г. (когда, например, словенцы боялись самостоятельности), да и федеративную Югославию в 1945 г. Теперь европейский процесс способствовал ослаблению интеграционных тенденций в Югославии.

История югославизма в 1848–1914 гг. показала, что хорватско-сербское сотрудничество полезно при решении конкретных, частичных задач (борьба за славянскую школу, суд и управление в Далмации в 60-х годах, за избирательную реформу 1910 г. в Хорватии и др.). Правящие круги Австро-Венгрии использовали сербско-хорватские противоречия. Поэтому старчевичанство многим казалось нелепым. Но осуществление конечной цели югославизма в форме общего государства в 1918 и 1945 гг. привело к неудаче. Югославизм как цель оказался утопией. Здесь применима формула Э. Бернштейна "движение все, конечная цель – ничто". А. Старчевич же и правящие пренебрегали частичными "победами" и полагали, что хорватский народ не может реально улучшить свое положение без достижения конечной цели – суверенного государства. Хорватский народ по А. Старчевичу, должен отказаться от "метафизических" теорий и целей (куда он включал югославизм и югославское государство) и, как все народы, имеет право на независимость. Можно вспомнить известные слова А.Н. Радищева и сказать: Старчевич смотрел ("зрел") "сквозь целое столетие" (кстати, лидер правящей умер в 1896 г., а утверждение независимой Хорватской республики состоялось в 1991–1995 гг.).

Но при всем этом история показала, что игнорирование значения промежуточных этапов национально-политического развития хорватов, как и словенцев, неубедительно. Это относится к Югославии 1918–1941 гг. и 1945–1991 гг. Так в ноябре 1918 г. решение об объединении в единое Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев было принято хорватами-либералами в трудной ситуации, а не являлось плодом рассуждений в спокойной кабинетной обстановке, оставлявшей возможность лучшего выбора. Надо было иметь мужество Ст. Радича (как в 1916 г. Ф. Супило), чтобы пойти против течения. Но реальная обстановка ноября 1918 г. не оставляла место альтернативе.

В Югославии несмотря на господство реакционных великосербских кругов (имевшее нетерпимые экономические, политические и моральные последствия для хорватов), после 1918 г. преграды, существовавшие для политических связей между

хорватскими территориями в Австро-Венгрии (Хорватия – Славония, Далмация, Истрия, Меджимурье, хорватские районы Боснии и Бараньи принадлежали к разным административным или политическим образованиям), пали и впервые стало возможным массовое общенациональное движение, что свидетельствовало о зрелости нации. В 1939 г. хорватские земли были объединены и получили автономию (Бановина). Для словенцев исчезла угроза германизации, появилась возможность свободного развития среднего образования на родном языке, были учреждены университет, а позднее Словенская академия наук и искусств, о чем до 1918 г. словенцы могли лишь мечтать. Перед наиболее развитыми в экономическом отношении югославскими землями Словенией и Хорватией открылся широкий рынок.

В 1945 г. была создана Народная Республика (позднее Социалистическая Республика) Хорватия – государство в составе югославской федерации. Так как межнациональный конфликт в Югославии углублялся, Р. Хорватия (как и другие республики распадавшейся СФРЮ) к началу 90-х годов стала *готовой территориально-политической формой* для независимого государства. Осталось его провозгласить и (к сожалению) отстоять в войне.

По-видимому, этапы 1918 и 1945 гг., несмотря на весь драматизм событий, в имевшихся в Европе условиях миновать было невозможно.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Романенко С.А. Хорватская историография 80-х: между историей и политикой // Национализм и формирование наций. М., 1994; Фрейдзон В.И. Исторические корни и сущность югославизма XIX в. // Новая и новейшая история. 1997. № 3; Фрейдзон В.И. Основные тенденции межвоенной историографии югославизма // Славяноведение. 1997. № 6; Лециловская И.И. Иллиризм. М., 1968; Лециловская И.И. Общественно-политическая борьба в Хорватии. 1848–1849. М., 1977; Фрейдзон В.И. Борьба хорватского народа за национальную свободу. М., 1970; Фрейдзон В.И. Далмация в хорватском национальном возрождении. М., 1997.
2. Bogdanov V. Historijska uloga društvenih klasa u rješavanju južnoslovenskog nacionalnog pitanja. Sarajero, 1956.
3. Bogdanov V. Ante Starčević socialna pravda. Zagreb, 1937.
4. Starčević A. Politički spisi. Zagreb, 1971.
5. Bogdanov V. Historija političkih stranaka u Hrvatskoj. Zagreb, 1958.
6. Skerlić J. Eseji o srpsko-hrvatskom pitanju. Zagreb, 1918 (впервые: 1912).
7. Šidak J. Južnoslovenska ideja u Ilirskom pokretu // Jugoslovenski istorijski časopis. 1963. № 3; Šidak J. Studije iz hrvatske povijesti XIX st. Zagreb, 1973; Šidak J. Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1848–1849. Zagreb, 1979; Šidak J. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. Zagreb, 1981.
8. Hrvatski narodni preporod – ideje i problemi; Jugoslovenska ideja u hrvatskoj politici do I svjetskog rata; Prilog razvoju jugoslavenske ideje do I svjetskog rata etc // Šidak J. Studije iz hrvatske povijesti XIX st. Zagreb, 1973.
9. Šidak J. Austroslavizam i slavenski kongres u Pragu 1848 // Historijski predled. 1960. № 6.
10. Šidak J. Hrvatske zemlje u razdoblju nastajanja preporodnog pokreta (1790–1827) // Historijski zbornik. 1980–1981.
11. Šidak J. e.a. Hrvatski narodni preporod – ilirski pokret. Zagreb, 1988.
12. Lovrenčić R. Ekonomska problematika u Supilovu "Novom listu" 1903–1905 // Radovi Filozofskog fakulteta. Odsjek za povijest, 3. Zagreb, 1960; Lovrenčić R. Ekonomska problematika u Supilovu "Novom listu" 1906–1914 // Institut za hrvatsku povijest. Radovi, br. 6. Zagreb, 1974; Lovrenčić R. Geneza politike "novog kursa". Zagreb, 1972.
13. Gross M. Vladavina hrvatsko-srpske koalicije. 1906–1907. Beograd, 1960.
14. Gross M. Hrvatska uoči aneksije Bosne i Hercegovine // Istorija XX veka. Zbornik, III. Beograd, 1962.
15. Gross M. Socijalna demokracija prema nacionalnom pitanju u Hrvatskoj 1890–1902 // Historijski zbornik, 1956; Gross M. Socialna demokracija u Hrvatskoj i politika "novog kursa" // Radovi Filozofskog fakulteta. Odsjek za povijest. 1959. № 2; Gross M. Ideologija socijalističkog pokreta u Hrvatskoj do prvog svjetskog rata // Nastava povijesti. 1979. № 9; Redžić E. Auströmarksizam i

- jugoslavensko pitanje. Beograd, 1977; *Strugar V.* Socijalna demokratija o nacionalnom pitanju jugoslovenskih naroda Beograd, 1956; *Strugar V.* Socijademokratija o stvaranju Jugoslavije. Beograd, 1965.
16. *Gross M.* Einfluß der sozialen Struktur auf der Charakter der Nazionalbewegung in der kroatischen Ländern im 19 Jht (в нашем распоряжении оттиск без исходных данных); *Gross M.* Društvene strukture i nacionalni pokreti jugoslovenskih naroda uoči I svjetskog rata // *Nastava povijesti.* 1975. № 4; *Gross M.* Social Structure and National Movements among the Yugoslav Peoples on the Eve of the First World War // *Slavic Review.* Vol. 36. 1977. № 4. *Гросс М.* Общественно-экономическое развитие Хорватии во второй половине XIX в. // Социальная структура общества в XIX в. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1982.
  17. *Šidak J., Gross M., Karaman I., Šepić D.* Povijest hrvatskog naroda. 1860–1914. Zagreb, 1968.
  18. Diz annees d'histiographie yougoslave. 1945–1955. Beograd, 1955; *Historiographie yougoslave.* 1955–1965. Beograd, 1965; *Šidak J.* Hrvatska historiografija 1955/65 // *Historijski zbornik.* 1965; *Historiografija od 1965–1975 za hrvatsku povijest do g. 1918* // *Historijski zbornik.* 1978–1979; *Šidak J.* Eugen Kvaternik u historiografiji // *Časopis za suvremenu povijest,* 1972. № 1.
  19. *Strossmayer J.J., Rački F.* Politički spisi [V. Koščak]. Zagreb, 1971; *Starčević A.* Politički spisi [T. Ladan]. Zagreb, 1971; *Kvaternik E.* Politički spisi [Lj. Kuntić]. Zagreb, 1971.
  20. *Časopis za suvremenu povijest.* 1972. № 1 (пять публикаций).
  21. *Gross M.* Povijest pravaške ideologije. Zagreb, 1973.
  22. *Gross M.* "Ideja jugoslovenstva" Franje Račkoga u razdoblju njezine formulacije (1860–1862) // *Historijski zbornik,* 1976–1977; *Gross M.* O ideološkom sustavu Franje Račkoga // *Zbornik Zavoda za povijesne znanosti (JAZU).* Vol. 9. (оттиск, 1978).
  23. *Gross M.* Poceci moderne Hrvatske. Zagreb, 1985.
  24. *Gross M.* Nacionalne ideje studentske omladine u Hrvatskoj uoči I svjetskog rata // *Historijski zbornik,* 1968–1969.
  25. *Gross M.* Nacionalnointegracijske ideologije u Hrvata od kraja ilirizma do stvaranja Jugoslavije // *Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća.* Zagreb, 1981.
  26. *Романенко С.А.* Хорватская историография 80-х: между историей и политикой // *Национализм и формирование наций.* М., 1994.
  27. *Ganza-Aras T.* Frano Supilo u svjetlu najnovijih istraživanja // *Historijski zbornik.* 1972–1973.
  28. *Šepić D.* Frano Supilo // *Časopis za suvremenu povijest.* 1970. № 2.
  29. *Korunić P.* Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj i slovenskoj politici. Zagreb; Ljubljana, 1986.
  30. *Petrović R.* Nacionalno pitanje u Dalmaciji u XIX stoljeću (Narodna stranka i nacionalno pitanje 1860–1880). Sarajevo, 1968; *Stančić N.* Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji. Mihovil Pavlinović i njegov krug do 1869. Zagreb, 1980.
  31. Советское славяноведение. 1970. № 6; *Stančić N.* Hrvatstvo, sprstvo i jugoslovenstvo u Dalmaciji u vrijeme narodnog preporoda // *Časopis za suvremenu povijest,* 1970, № II.
  32. *Фрейдзон В.И.* Исторические корни и сущность югославизма // *Новая и новейшая история.* 1997. № 3.
  33. *Радевић А.* Маргиналије на "Повиест хрватскога народа" // *Историјски гласник.* I. Београд, 1969; *Gross M.* Maliciozne marginalije o "delikatnim" pitanjima // *Časopis za suvremenu povijest.* Zagreb, № I.
  34. *Božić I., Ćirković S., Ekmečić M., Dedijer V.* Istorija Jugoslavije. Beograd, 1972; *Časopis za suvremenu povijest.* 1972. № 3.
  35. *Historijski zbornik.* 1972–1973. Zagreb, 1974, № 1–2.
  36. *Milutinović K.* Vojvodina i Damacija, 1760–1914. Novi Sad, 1973; *Časopis za suvremenu povijest.* 1974. № I.
  37. *Крестич В.* Југословенска политика Јосипа Јурја Штросмајера // *Историјски гласник.* 1969. № 1; *Ciliga V.* O rešenju mifa oko "jugoslavenske" politike Josipa Jurja Strossmayera // *Časopis za suvremenu povijest.* 1971. № II–III; *Krestić V.D.* Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslovenska ideja 1860–1873. Beograd, 1983; *Krestić V.D.* Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslovenska ideja u drugoj polovini XIX veka. Beograd, 1988.
  38. *Gross M.* Maliciozne marginalije // *Časopis za suvremenu povijest,* 1971, № I. S. 222.
  39. *Historijski zbornik.* 1972–1973. Zagreb, 1974.
  40. *Ekmečić M.* Jugoslovenski istorijski časopis. Zagreb, 1974. № 1–2.
  41. *Matvejević P.* Jugoslovenstvo danas. Beograd, 1982.



© 1999 г. КАТРИОНА КЕЛЛИ

## БЫТ И САМОБЫТНОСТЬ: РУССКИЕ КОНСЕРВАТОРЫ И КУЛЬТ ДОМАШНОСТИ, 1800–1860-е ГОДЫ

В 1999 г. отмечается шестидесятая годовщина выхода в свет книги Норберта Элиаса "О процессе цивилизации", первопродходческого исследования жанра пособий и руководств (в данном случае руководств по этикету) в качестве источника, важного для понимания исторических перемен, и в особенности развития "цивилизованного общества" и современного буржуазного быта [1]. После переиздания книги в 60-х годах, историография Западной Европы и Америки, занимаясь "историей повседневности" (*Alltagsgeschichte*, *Histoire de la vie privée*), постоянно обращалась к руководствам по этикету, учебникам по домоводству и трактатам по гигиене (см., например, [2]). Целый ряд работ, и прежде всего "Невоспитанность и хорошие манеры", блистательный обзор американских руководств (*advice literature*) XIX в., выполненный Джозефом Кассоном, выделяя литературу об этикете в качестве особой темы, следовал за Элиасом, расширяя в то же время марксистские параметры его анализа, вводя тематику потребления (приобретение материальных объектов, необходимых культурному человеку) и культурного потребления (развитие "воспитанного" отношения к чтению и поведению в театре) [3].

Однако в том, что касается русской истории, фундаментальные исследования, посвященные жанру руководств, так и не были предприняты, и лишь некоторые историки сохраняли к нему периферийный интерес<sup>1</sup>. Подобное пренебрежение проистекает, очевидно, с одной стороны, из незнания того факта, что с конца XVIII в. подобная литература по количеству заглавий и переизданий являлась одним из наиболее значимых типов массовых изданий, а с другой – из уверенности в том, что нормативные материалы почти или вовсе не имеют никакого отношения к реальной повседневности. Например, в недавней работе о дворянском воспитании в начале XIX в. Ольга Муранова отмечает, что исследование материалов такого рода представляется бессмысленным, поскольку культурная передача поведенческих моделей

---

Катриона Келли – преподаватель русской литературы Оксфордского университета (Великобритания).

Лжащее в основе данной статьи исследование было проведено благодаря поездкам в Россию, организованным в рамках официального обмена между Британской Академией и Российской Академией наук. Мне хотелось бы выразить свою благодарность этим учреждениям, а также New College, University of Oxford. Я признательна своим коллегам и друзьям, и прежде всего Л.Н. Киселевой, за указания библиографического характера.

<sup>1</sup> Исключением к общему пренебрежению жанром пособий и рекомендаций является аннотированный английский перевод "Подарка молодым хозяйкам" Е. Молоховец [4], хотя здесь текст берется как прозрачный источник информации о подлинных практиках, а не как выражение идеологии. Подход, близкий моему, представлен в [5], где обсуждается вклад в публичный дискурс учебников политической риторики, таких как [6].

зависит скорее от имитации, чем от обращения к своду правил. Поведение следует понимать как: "прежде всего образ жизни, стиль поведения, усваиваемый отчасти сознательно, отчасти бессознательно, путем привычки и подражания; это традиция, которую не обсуждают, а соблюдают. Поэтому важны не столько теоретические предписания, сколько принципы, которые реально проявлялись в быте, поведении, живом обращении" [7].

Точка зрения Мурановой спорна по нескольким пунктам, в большой степени из-за ее представления о том, что историческая реальность (и в особенности такие эфемерные феномены, как *живое обращение*) могут быть без труда добыты из письменных источников – романов и воспоминаний. Однако ее предубежденность по отношению к любым попыткам строить реальные поведенческие модели на основе нормативных источников имеет известный смысл. Поведенческая литература обладает предписательным характером, она формирует идеал, а не описывает реальность. Реальное поведение обычно соприкасается с поведенческими пособиями негативно (наличие запрета на определенный тип поведения иногда является указанием на то, что существуют люди, которые именно таким образом и ведут себя). Но даже здесь встречаются ловушки. В книге Д.С. Соколова "Светский человек, или Руководство к познанию правила общежития" (1847) есть несколько примеров, где репрезентации нежелательного кажутся весьма правдоподобными. Например, из предписания "передавая свечи, не постукивать ими по плечу соседа, но просить его передать их", и указания на то, что "военные не могут подходить к таинствам в оружии" возникает живая картина бесцеремонного поведения в церкви. Однако, когда Соколов пишет, что во избежание "дурных толков" молодая женщина не должна выезжать одна, но "с своей прислужницей, если нет человека", а "в публичных собраниях ее сопровождает мать, или какая-нибудь почтенная дама", было бы нелепым видеть здесь намек на то, что женщины "общества среднего круга", к которым обычно и адресуется Соколов, выезжали без сопровождения мужчин [8]. На самом деле, за девушками и молодыми женщинами из традиционных купеческих и небогатых дворянских семей – как рассказывают мемуары и в чем не оставляют сомнений травелоги – присматривали очень внимательно; рекомендация могла быть взята Соколовым из какого-нибудь иностранного руководства. Метод "клея и ножниц" (или, если говорить более резко, плагиат) стоял за составлением многих пособий по этикету и домоводству, как это описано автором одного из них: «Такие "сборники" содержат в себе бездну наставлений, большую часть извлеченных из прежних книг или технических и хозяйственных журналов, при помощи ножниц да пера переписчика; верх заботливости издателя или составителя заключается, по большей части, в малоразборчивом прилавлении статеек, переведенных из иностранных книг и журналов, преимущественно из немецких и французских» [9].

Естественным результатом такого бездумного склеивания была инерция: предписания должны были отражать реалии и восприятия культуры-источника так, как будто они принадлежали русской культуре; это распространяется на переводной материал и на более общем уровне. Так, например, предписание, содержащееся в руководстве, переведенном с английского в 1873 г. [10. С. 23], – "вообще принято говорить с титулованными и высокопоставленными лицами, как со всеми другими людьми в обществе", едва ли адекватно представляло бытовавшую в России в эту эпоху точку зрения *de bas en haut* – по крайней мере если с доверием отнестись к беспокойству Ильи Репина о том, что он обратился к своему покровителю генералу Прянишникову, *тайному советнику*, так, как если бы тот был *stat-ским* [11]<sup>2</sup>.

Если поведенческая литература не обязательно напрямую отражает реальность, то

<sup>2</sup> Репин описывает, как, впервые встретив Прянишникову, "я не смел сесть", а "когда он, прощаясь, протянул мне руку, я бросился целовать полу его атласного халата и у меня фонтаном брызнули слезы" [10. С. 131].



равным образом не удается ей с неизменным успехом реальность конструировать. Именно в этом случае особенно важными оказываются замечания Мишеля де Серто о различии между текстом и интерпретацией: "Наличие и циркуляция репрезентации (...) ничего не говорят нам о том, чем она является для своих пользователей. Прежде всего мы должны проанализировать то, как ею манипулируют ее пользователи, а не творцы. Только тогда мы будем в состоянии увидеть различие или сходство за порождением образа и вторичное порождение, скрытое в процессе его использования" [12]. Действительно, предписания ряда поведенческих текстов столь прихотливы, странны и причудливы, что сомнительно, принимало ли их всерьез большинство или хотя бы некоторые читатели. Относительно недавний пример – дотошные наставления советского автора о правилах нахождения своего места в театре: "Первым по ряду идет мужчина. Здесь есть одна тонкость: до начала спектакля проходите к ряду лицом к сидящим зрителям, спиной к сцене. Но уже после первого антракта вы должны – из уважения к игре актеров (и в том случае, если среди сидящих зрителей нет ваших знакомых) – проходить лицом к сцене" [13].

Читателя, склонного по своему темпераменту скрупулезно следовать указаниям Ходакова, легко можно было бы от этого отговорить из-за весьма высокой вероятности не заметить знакомого, сидящего в том же ряду, и следовательно совершить промах более серьезный, чем не выказать уважение актерам на сцене.

Даже в случае относительно удачных рекомендаций намерения автора и читательская интерпретация не всегда совпадают. В России в конце XIX в. книги о самопомощи Самуэля Смайла имели значительную читательскую аудиторию, однако эта популярность способствовала скорее упрочению понимания "самопомощи" прежде всего как самообразования, чем распространению его многостороннего понимания "природного джентльмена": полагающегося на себя (ответственного только перед собой за продвижение по социальной лестнице), бережливого, трудолюбивого и знающего [14].

Становится очевидным, что если целью исследования является повседневность в ее актуальности, то литература о нормах оказывается полезной лишь в том случае, когда она скрупулезно сопоставляется с другими источниками – воспоминаниями, дневниками, письмами, трактатами и изящной словесностью (хотя доверие к этим источникам как к наиболее надежным путям к "реальной жизни" не является вполне оправданным). Однако, если поведенческая литература рассматривается (как это должно быть) не как прямой путь к практике, а как выражение идеологии, то она заслуживает анализа независимо от того, удастся ли ей отразить или трансформировать реальное поведение. По словам Джона Кассона, трактаты о поведении являются "незамеченным, но тем не менее исключительно важным набором репрезентаций городской народной жизни", показывая как "категории утонченности и грубости, уместного и неуместного поведения, действуют внутри культуры и очерчивают ее границы" [3]. Демаркационная функция литературы о поведении оказывается особенно существенной в трех областях: установление границ класса, обучение ролям, предлагаемым половыми различиями, и идентификация "национального" в противоположность "иностранному". Последнее было особенно важным в России, где, начиная с публикации в 1717 г. пионерского текста об этике "Юности честное зерцало", книги о поведении или распространяли идеал "западного", "современного" поведения, или же пытались ему противостоять. Именно эта тема – конструирование моделей "русского" поведения, как оно манифестируется в трактатах о том, как себя вести – и является предметом данной статьи.

Процитированное выше утверждение Мурановой о том, что традиции "соблюдаются, а не обсуждаются", не находит себе подтверждения в фактах послепетровской истории, для которой характерны частые, оживленные и временами раздраженные дискуссии о традициях и о значении этикета и поведения вообще для сохранения или разрушения этих традиций. Особенно оживленными и раздраженными подобные дискуссии стали в середине XIX в., когда консервативные националисты, включая тех,

кого оппоненты назовут "славянофилами"<sup>3</sup>, начали широкомасштабный пересмотр повседневного быта, настаивая на необходимости создания независимой национальной традиции, свободной от рабского подражания западным нормам. Реакция против "западной цивилизации" и отвращение к "галломании" сказались и в скромной сфере государственной литературы и в вещах более значимых, таких, как споры о государственности России и ее исторической судьбе.

Согласно общепринятой точке зрения, культура дореволюционной русской интеллигенции отличалась прежде всего высокой, эсхатологической ненавистью к повседневному существованию, противопоставлением *быта* и *бытия*. Так, например, данное противопоставление описывается Светланой Бойм как "одно из центральных общих мест русской интеллектуальной традиции" [16]. Однако, хотя это противопоставление и действует, когда речь идет о позиции радикальной интеллигенции, применение ее к русской интеллектуальной истории в целом приводит к игнорированию резко отличной перспективы, предложенной консервативными националистами. Отнюдь не отбрасывая *быт* в поисках *бытия*, они пытались наделить повседневность духовной значимостью; не избегая семейной жизни, они вдохновлялись необходимостью спасти ее от разлагающего влияния западных идей и жадной преобразования (или, если использовать термин более свойственный традиционалистским идеологиям, *обновления*) жизни помещика (под которым они обычно, если не всегда, имели ввиду представителя *дворянства*). Для авторов этой ориентации *быт* являлся освященным понятием, важнейшей сферой выражения русской идентичности.

Известная доля социологической контекстуализации кажется здесь вполне уместной. Рассадником консервативного национализма было среднее и бедное *дворянство* и образованное *купечество*. Иначе говоря, консервативные националисты оказывались выходцами из групп, чей доход едва ли выдерживал траты, связанные с вестернизацией (строительство каменной *усадьбы* с привезенными из-за рубежа обоями, занавесами и мебелью, отделанной шпоном, необходимость держать стол с тонкими винами и иностранными деликатесами, содержание картинных галерей и оранжерей, *мусье* или *мамзель* для детей). И в самом деле, расходы на подобную роскошь иногда становились причиной серьезного финансового дефицита или даже разорения. В классической статье о расходах на вестернизацию, Аркадиус Кахан предположил, что причиной сокращения между 1762 и 1834 гг. процента всего крестьянского населения, принадлежавшего помещикам, имевшим хозяйства с тысячей и более душ, явились затраты на предметы роскоши (импортированные пищевые продукты, ткани, книги), образование и путешествия [17]. Естественно, что находящиеся за пределами этой относительно привилегированной группы ощущали на себе требования, налагаемые принадлежностью к дворянству, еще сильнее. Уязвимость (*indignity*) "образованных нищих" вкупе со все более и более педалируемой ролью происхождения создавали особого рода *гордость бедных*, если воспользоваться фразой Достоевского из "Преступления и наказания", сказанной им о Катерине Ивановне. "Расходы на вестернизацию" и рост интереса к генеалогии, вместе взятые, способствовали появлению разрыва между собственно аристократией (термин *аристократия* начал использоваться в 1790-х годах) и теми, кто станет известен как *люди среднего состояния* – из нетитулованных и финансово необеспеченных, хотя и старинных *дворянских* семей, и видных *купеческих* фамилий<sup>4</sup>. Представители "среднего состояния"

<sup>3</sup> Вслед за Анджеем Валицием [15] я рассматриваю славянофилов как часть национальной и международной консервативной традиции, хотя реакционным режимом Николая I их идеи считались весьма возмутительными и подрывными.

<sup>4</sup> В качестве примера семейной гордости у представителя обедневшего дворянства см. книгу В. Левшина, которая должна была описать молодым членам семьи "деяния их предков, образцы достойные подражания" [18]. О биографии Левшина, чья семья принадлежала около 200 крепостных в Тульской губернии, рядом с Белевым, см. [19]. Об использовании термина *люди среднего состояния* см.: [20]: "Описывая наше Русское домашнее хозяйство, я, не говоря о высших званиях, обращаюсь к быту людей среднего состояния" (цит. по 8-му изд. М., 1854. С. I; самое раннее издание, представленное в РНБ и РГБ – 4-е).

презирали аристократических магнатов как высокомерных выскочек, рабки зависящих от всего иностранного<sup>5</sup>. Иностранные товары, от скаковых лошадей до книг, и от вееров до пряностей, становились метафорами потакания своим прихотям. В 1793 г. два московских купца составили список предметов роскоши, которые, как они полагали, должны были быть или запрещены к ввозу в Российскую империю или обложены штрафом. В заметках, сопровождавших перечисленные товары, подчеркивался расточительный и непатриотический характер импортируемого: относительно копченой говядины и ветчины было замечено, что "свое есть хорошее и дешевле", о сыре – "лакомство, охотник, делай дома, искусства требуется мало", а об иностранном табаке – "сей по моде покупают, а не по достоинству и надобности" [21].

Таким образом, бережливость и самоограничение, вызванные социально-экономической необходимостью, перетолковывались как выражение морального и эстетического превосходства и патриотического рвения. Русские консерваторы перевернули формулу Дэвида Юма ("потакание своим слабостям является лишь пороком, когда покупается ценой такой добродетели, как щедрость или милосердие; подобным же образом оно оказывается глупостью, когда из-за него человек растрчивает свое состояние"), считая, что "потакание своим слабостям" со всей необходимостью покупается ценой щедрости, а роскошь и разорение неотделимы друг от друга [22]<sup>6</sup>. В конце XVIII в. и в начале XIX, такие консервативные авторы, как Державин, Фонвизин, а позднее Сергей Глинка, Василий Левшин, Александр Хомяков, Иван и Константин Аксаковы бранили моральную опустошенность и блистательный блеск западной, прежде всего французской, цивилизации, призванный скрыть безнравственность, неискренность и (в особенности после Французской революции) варварскую кровожадность за фасадом искусственной и дорогостоящей элегантности. Как писал Левшин в своем резко антифранцузском памфлете "Послание русского к французолюбцам": "Мой учитель немец (...) который был добрый христианин, добрый гражданин, следственно добрый человек, и учил тому же и учеников своих – он натолковал мне, что сей народ был самый варварский, весьма кровожаден, промышлял разбоем и грабежами, и своим кумирам приносил лютые человеческие жертвы (...) довели они [т.е. французы] роскошь и распутство нравов подлинно до *Nec plus ultra*" [23].

Эти "варварство" и "развращенность" считались заразительными, и вестернизированный магнат, который мог позволить себе потакать собственному пристрастию к роскоши, рассматривался как бессердечный эксплуататор труда русского народа. Так, например, С. Глинка, чей "Русский Вестник" не переставая увещевал своих читателей оставить любовь к иностранным вещам, установил прямую связь между желанием некоторых русских читателей приобрести роман мадам де Сталь "Коринна, или Италия" и плачевным положением русских бедняков. Расходы на покупку книги или на то, чтобы взять ее в библиотеке, были таковы, как утверждал Глинка, что: "Я почти уверен, что одна половина сей суммы могла бы оцастливить несколько бедных и страждущих семейств, а другая послужила бы к прекрасному изданию "Кадма и Гармонии" [Хераскова] (...) Простите мечтам моим; но я думаю, что там, где все то, что приносит в жертву роскоши, прихотливых искусств и тщеславия, есть плод тяжелых и неутомимых работ, там можно назвать добродетелями *хозяйство* и *бережливость*, там двенадцатирублевая "Коринна" есть налог, которым *роскошная чувствительность*, обременяет тех, которые в дымной хижине часто рады и куску хлеба! [24]<sup>7</sup>.

С проклятием иностранным побрякушкам соотносилось, как явствует из упоминания Глинкой *хозяйства* и *бережливости*, прославление добродетельной

<sup>5</sup> Знаменитым обличением аристократии представителем нетитулованного дворянства является "Моя родословная" (1830) Пушкина, в которой основатели целого ряда видных фамилий представлены как люди скромного, часто иностранного происхождения, проложившие себе путь к монаршей милости и благодаря этому к социальному престижу.

<sup>6</sup> Эссе Юма было переведено на русский как "Теория к познанию роскоши" (СПб., 1776).

<sup>7</sup> До известной степени диатрибам Глинки против иностранных товаров из культурной сферы следует Толстой своими грозными инвективами против оперы в трактате "Что такое искусство".

домашней жизни (бережливой, самоотверженной и трудолюбивой) как вклада в дело патриотизма. С конца XVIII в. управление домашним хозяйством становилось важным выражением особой национальной идентичности, а слово *быт*, часто сопровождаемое прилагательным *русский*, начинает использоваться консервативными националистами как знак одобрения, обозначающий целый комплекс этических и эстетических ценностей (уважение к семейным традициям, финансовое самоограничение, соблюдение приличий), считавшихся несвойственными "ложной цивилизации" Запада. Например, именно в таком смысле *быт* упоминается в стихотворении Державина "Хвала деревенской жизни", написанном в 1798 г.:

Но будет ли любовь при том  
Со прелестьми ее забыта,  
Когда прекрасная лицом  
Хозяйка мила, домовита,  
Печется о его детях?

Как ею – русских честных жен  
По древнему обыкновенью –  
Весь *быт* *хозяйский* (выделено мною. – К.К.) снаряжен:  
Дом тепл, чист, светл, и к возвращенью  
С охоты мужа стол накрыт [25. С. 138].

В "Выбранных местах из переписки с друзьями" (1847) слово *быт* употребляется для обозначения специфики русской жизни, в данном случае крепостного права, которое, как полагал Гоголь, являлось предметом зависти всей Европы<sup>8</sup>. Однако первое, очевидно, развернутое высказывание на тему взаимосвязи домашней жизни и сохранения национальных ценностей было сделано Иваном Киреевским в важной статье 1852 г. "О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России". Здесь термины *быт* и *самобытный* употребляются восемнадцать раз на протяжении сорока восьми страниц, причем особенно часто (в пятнадцати случаях из восемнадцати) в контексте прославления исключительных достоинств традиционного *русского быта* с его подлинной религиозностью и уважением к обычаям. Основной мотив рассуждений Киреевского заключается в том, что если высшие классы не исправятся и не воскресят *русский быт*, они потеряют моральное право на владение землей и на ту культурную роль, которую склонны считать само собой разумеющейся [27].

Кроме акцента на необходимости интеграции религиозных обычаев в повседневность, Киреевский не дает почти никаких рекомендаций относительно тех реалий, которые можно было бы объединить под общей рубрикой *русский быт*. Другие консерваторы были, однако, более конкретны. Державин, например, отметил важность традиционных блюд (пива, щей, окорока):

Бутылка доброго вина,  
Впрѣк пива русского варена,  
С гренками коновка полна,  
Из коей клубом лезет пена,  
И стол обеденный готов.  
Горшок горячих, добрых щей,  
Копченый окорок под дымом  
Обсаженный семьей моей,  
Средь коей сам я господином,  
И тут-то вкусен мне обед [25. С. 139]<sup>9</sup>.

К 1810-м годам трактаты по домоводству, наставлявшие своих читателей в том, как создать восхваляемый Державиным *русский быт*, начали бросать вызов переводной литературе, до того времени доминировавшей на рынке пособий и руководств. Нача-

<sup>8</sup> Точная цитата: "древний патриархальный быт" [26].

<sup>9</sup> Взятый из жизни параллельно к этой сцене является стол княгини Дашковой, который, как отмечает Кэтрин Уилмот, ломился от деликатесов, приготовленных в подмосковном имении, чем особенно была горда хозяйка (см.: [28. Р. 191], запись от 24 сентября 1805 г.).

тая "Полной хозяйственной книгой" (1813) Василия Левшина, эта линия была подхвачена такими изданиями, как "Ручная книга опытной русской хозяйки" (1842) Екатерины Авдеевой и знаменитыми "Выбранными местами из переписки с друзьями" Гоголя.

Все эти книги строились на контрасте между легкомысленной и безнравственной приверженностью к иностранным представлениям о приличиях – и подлинной, искренней верностью традиционной русской морали. Так, например, Левшин считает, что вторжение иностранцев в воспитание детей неизменно ведет к катастрофе: "Еще более не простительно полагаться в сем случае на Француженок, Англичанок и других иностранок, имеющих совсем несходные с нами религию, нравы и обычаи (...) никакая иностранка не может сообщить Российского характера, не может дать ему понятия о мужестве, твердости и добродетелях его предков, об любви к отечеству и Государю" [29].

В своих советах "русской жене" в "Выбранных местах" Гоголь противопоставил самоограничение и богоугодность подлинного приличия, когда экономят на домашних тратах, чтобы подать бедным, "поддержанию видимости", столь важной для импортированной традиции *comme il faut*: "Вы только не сгорите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не *comme il faut*, но еще посмейтесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее *comme il faut* есть то, какого требует от человека Тот самый Который создал его" [26. С. 138].

Авдеева, со своей стороны, представила свою поваренную книгу одновременно как вклад в поддержание добродетельных семейных отношений и национальных традиций: "Следствием всего вывожу я, что *наука хозяйства* необходима каждой доброй матери семейства, во всяком состоянии, и что каждая мать должна поставить себе обязанностью учить ей своих дочерей (...) Еще несколько слов о прилагательном: *русская*. Моя книга назначается именно для русского хозяйства, я говорю о русском национальном столе, русских кушаньях, русской кухне. Не порицая ни немецкой, ни французской кухни, думаю, что для нас во всех отношениях здоровее и полезнее наше русское, родное, то к чему мы привыкли, с чем мы свыклись, что извлечено опытом столетий, передано от отцов к детям и оправдывается местностью, климатом, образом жизни" [20].

В эпоху "Ручной книги" обе эти формулы были вполне устойчивыми. Во введении к "Русской поварне" (1816) Левшин также отметил достоинства национальной кухни в противоположность иностранной, побранив последнюю как безнравственную (разрушительно повлиявшую на *русские нравы*) и неприятную на вкус: она слишком сложна для приготовления, дорога, наполнена специями и вредна для здоровья [30]. В "Полной хозяйственной книге" тот же автор подчеркнул, что муж и жена взаимодополняют друг друга в ведении *внутреннего и внешнего хозяйства* и в поддержании *порядка*: "Ежели господин не помышляет о своих должностях в отношении к своим деловым чиновникам и служителям, – ежели не распорядит их должностей; – ежели господа не будут иметь попечений о том же в отношении к своим домовым чиновникам и служительницам: то какого порядка можно будет ожидать в доме?" [29. С. IX].

Естественным местом для реализации всех хозяйственных планов было поместье, где патриархальный помещик – и матриархальная помещица – внимательно наблюдают за поведением своей семьи и вассалов, простирая свою просветительскую миссию на всех жителей региона. По словам Василия Левшина, помещик ответственен за нравственное благополучие своих подданных, он является гарантом поддержания в них *страха Господня*, воздержания от пьянства, прогулов, карт; дети дворян также оказывались под его попечительством, им не следует позволять "вырастать как сорняк", учиться "своевольствовать, упрямиться, драться, сквернословить" [29. С. 3, 5]. Целью было *воспитание*, а не *образование*, наставление Гоголя "русскому помещику" в "Выбранных местах" "учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские

человеколюбцы, есть действительно вздор" [26. С. 121] представляло собой вариацию на расхожую тему – помещичье хозяйство, как его видели консерваторы – с солидно выстроенными, хотя и скромными по размеру господским домом и службами, образцовой деревней (в конце 1830-х годов и в начале 1840-х появилось большое количество книг по архитектуре, предлагавших образцы построек любого типа для поместий) (см., например, [31]), аккуратными, трудолюбивыми и трезвыми дворовыми и крестьянами, с постоянным живущим в деревне, усердным помещиком и его любящей семьей, – являлось сельской утопией, бросившей вызов просвещенческой, а позднее социалистической идее западного города, как воплощения ценностей цивилизации. Этот иерархический микрокосм, основанный на *чине* в обоих смыслах слова (ранг и порядок) (как выразил это Гоголь "всякий должен служить Богу на своем месте, а не на чужом" [26. С. 118] был полярной противоположностью *разночинной* утопии Чернышевского – рациональной, элитарной и городской.

О важности для консерваторов-националистов жанра руководств свидетельствует возникновение в конце XVIII в. пародийных *антируководств*, наставлявших своих читателей с насмешливой торжественностью в том, как стать пустоголовым кутилой, столь ненавистным для консерваторов. Так, например, Николай Страхов в "Карманной книжке для приезжающих в Москву" рекомендует помещикам перед тем, как отправиться во вторую столицу, загрузить свои экипажи "девками, платьями, фижмами, шнуровками, коробками, ящиками, ларцами, укладками, сундуками, сундучками, баулами и чемоданами". По прибытии им следует приобрести экипаж приличный вместо прочного, кое-как нахвататься модной болтовни ("составлять из всех бестолковых слов модное красноречие"), и посетить гостиницу или кофейню, чтобы нанять для детей иностранного *камердинера*: "Сии последние, будучи довольно искусные обезьяны своих последних господ, без сомнения из всех прочих более вам понравятся щегольским и вольным своим обращением". Научившись немного играть на фортепьяно ("Играение ваше на фортепиане своей неправильностью тронет уши всякого безвнимательного человека"), следует приобщиться к иностранной литературе ("Руководством к благоварию и добродетели изберите разные нелепые и развратные сочинения иностранных бумагомаров"), перед тем как поехать в театр на вечер, посвященный сплетням и рассматриванию знакомых в лорнет [32].

Несмотря на всю ту эмоциональность, с которой они выступали против неискренности "западной цивилизации", тем не менее, на уровне конкретных предложений, а не абстрактных заявлений о желательности самобытности, те, кто пытался сконструировать национальные модели поведения, нередко оказывались в неожиданном долгу перед теми же самыми якобы презируемыми ценностями. И не просто потому, что у наиболее пылких патриотов часто обнаруживались сомнительные русские предки (как едко заметил Толстой в послесловии к "Воине и миру"<sup>10</sup>, но и потому, что критические выступления националистов-консерваторов против "ложной" (т.е. французской) цивилизации сознательно или бессознательно повторяли выпады писателей Северной Европы, делавшиеся в течение всего XVIII в. и в начале XIX в., как например у Самюэля Джонсона в его "Лондоне":

Studious to please, and ready to submit,  
The supple Gaul was born a parasite:  
Still to his int'rest true, where'er he goes,  
Wit, brav'ry, worth, his lavish tongue bestows;  
In ev'ry face a thousand graces shine,  
From ev'ry tongue flows harmony divine.  
These arts in vain our rugged natives try,  
Strain out with falt'ring diffidence a lie,  
And get a kick for awkward flattery [34]<sup>11</sup>.

<sup>10</sup>Толстой убежден, что наиболее хвастливые военные мемуары составлены "нашими инородцами" (под которыми он, среди прочих, имеет в виду Сергея Глинку) [33].

<sup>11</sup>Сдержанность русских авторов по отношению к иностранной пище сопоставима с тем, что имеет

("Заботящийся о том, чтобы понравиться и готовый подчиниться, угодливый галл был рожден паразитом: верный своей выгоде, где бы он ни оказывался, остроумие, великолешие, достоинство расточал его щедрый язык; в каждом лице сияет тысяча граций, с каждого языка течет божественная гармония. Эти искусства тщетно пробуют наши неотесанные соотечественники, которые вымучивают, запинаясь и робея, ложь и получают пинок за неловкую лесть").

Поучительно обнаружить образ француза как *искусной обезьяны*, топос ксенофобских русских текстов первой половины XIX в., в письмах Кэтрин Уилмот, описывавшей московские нравы в 1805 г. как "разъяренную обезьяну на спине медведя!" [28. P. 195].

Зависимость часто шла дальше простого использования сходных негативных стереотипов. Важным моментом являлось то, что европейская наука, и в особенности медицина, воспринимались как ценностью нейтральные, в отличие от европейского просвещения. В страстно националистских "Записках о старом и новом русском быте" Авдеева не нашла ничего более красноречивого для демонстрации достоинств народной русской медицины, чем утверждать ее первенство в отношении медицинских техник (таких как гидропатия), только что открытых западной наукой, тогда как "Народная медицина" Акима Чаруковского, посвященная великому князю Михаилу Павловичу, представляла собой вариацию на тему руководства для помещика, где землевладельцы рассматривались как посредники в передаче гигиенических сведений своим крестьянам: "Они должны научить поселянина, что весна располагает к простуде" [37; 38]. Забавно и то, что консервативные авторы часто напрямую черпали свои иронические пассажи из европейских источников: Сергей Глинка, например, признавал в примечании к статье "Кузнецкий мост, или Владычество моды и роскоши", что его обличение французской культуры позаимствовано из трудов французских писателей: "Почти все то, что приведено мною в сей речи, взято слово в слово из Послания Канцлера Гопиталья о *роскоши* и из Фенеллонова *Телемака*" [39]. И хотя авторы русских руководств и могли настаивать на том, что их богоугодная забота о *страхе Господнем* и о мудром самоограничении отличает их от легкомысленных западных соперников, идеалы набожности, бережливости и трудолюбия, которые они проповедовали, были общими местами западной литературы о поведении. Например, "Наставление знатному молодому господину" Тротти де ла Шетарди, переведенное на русский в 1778 г., начинается с раздела "О страхе Божиим и хранении почтения к святыне" [40]; трактаты Фенелдона [41] и мадам де Ламбер [42], исключительно популярные в России, подчеркивали важность воспитания в детях благочестивой привычки к чтению Евангелия и подозрительности к льстивым увещаниям *света* (*monde*), тогда как в "О воспитании матерей семейства" (1834) Луи Эме-Мартена [43], экземпляры которой находились в библиотеках Пушкина и императрицы Александры Федоровны<sup>12</sup>, содержались нападки на безнравственность современного брака и призыв дать образование женщине дабы приготовить ее к роли хранительницы (*regulators*) нравственности и цивилизации. Заимствующие свои идеалы национальной самобытности и естественного поведения у таких авторов как Руссо и мадам де Сталь ("О Германии"), консервативные писатели были обязаны презираемому ими западному миру также сопутствующими деталями в выражении этих идеалов.

Если выражение самобытности представляло собой проблему даже в относительно управляемой сфере идеологии, то утверждение на практике русского поведения, не затронутого западным влиянием, было еще более сложным, учитывая, что к 1800 г. высокая русская культура оказалась насыщенной западными артефактами, культур-

---

место в британских кулинарных книгах XVIII и XIX вв. Например, Мэри Коул [35] придумала некоторое количество книг французских поваров с шутивными именами, "чтобы поиздеваться над теми английскими авторами, которые из кожи лезут вон, подражая авторам французским" [36].

<sup>12</sup>Экземпляр РГБ под шифром G 2/50 имеет экслибрис императрицы Александры Федоровны; что касается принадлежности этой книги Пушкину, см.: [44].



ными продуктами и поведенческими моделями. В интригующей статье об адмирале Шишкове, Л.Н. Киселева проследила противоречия в жизни архипатриота, печатно бранившего "галломанию", но по-западному одевавшего своих детей и нанявшего им французского учителя [45]. Выведенный на уровень высокого фарса и одновременно высокой трагедии Грибоедовым, чей Чацкий, саркастически отзывающийся о фраках ("Хвост сзади, впереди какой-то чудный выем"), сам красуется в презираемой одежде, разрыв между представлениями и практиками остается постоянным в биографиях русских консерваторов и в течение последних двух третей XIX в. Так, отпрыски Сергея Аксакова были настроены в детстве столь патриотически и антифранцузски, что "наткнувшись на французское письмо, они изымали его, уносили на чердак, пробивали его ножами, позаимствованными из домашней кладовки, и победоносно устраивали ему аутодафе". И тем не менее, все они выросли, бегло говоря по-французски [46]. Иван Аксаков, настроенный среди славянофилов наиболее националистически, прибавивший к своему недоверию в отношении французской "ложной цивилизации" резкий антисемитизм и антипольские настроения, в устройстве своей собственной жизни сохранял двусмысленные отношения с чужой культурой. В письме невесте, Анне Тютчевой, написанном в 1865 г., он подчеркнул важность семейных традиций, столь существенных для консерваторов-националистов: "Я желал бы, чтобы [мама] передала бы тебе все предания Аксаковского рода, все семейные поверья и обычаи, изустную Семейную Хронику, наконец сказания о прежнем, уничтоженном быте, о бытовой жизни православия, об явлениях этой старой органической, ныне вымирающей жизни" [47]. И все же одновременно с этим он выказал чрезвычайное внимание к обстановке дома в Абрамцеве (куда они с Тютчевой должны были переехать после свадьбы), принадлежностям западного комфорта, включавшим не только мягкую мебель (для гостиной должен был быть куплен *круглый мягкий диван*), но также туалет ("Придумай, как устроить девичью, где поставить перегородку для твоего черного кабинета *lavatorio* и проч., и какого свойства") – вещь весьма новую в контексте русского загородного дома [48]<sup>13</sup>.

Проникновение иностранного в сферу практики затронуло и жанр руководств. "Русская поварня" Левшина при всех ее проклятиях иностранным разносолам включает среди русских деликатесов не очень традиционную индейку с солеными лимонами и объясняет, как приготовить в домашних условиях заместители для таких привозных лакомств как оливки и каперсы<sup>14</sup>. "Ручная книга" Екатерины Авдеевой при всех ее красивых словах о важности "русского национального стола" фактически посвящает ему лишь 32 страницы, при 50, отведенных "Общей кухне"; "Полная хозяйственная книга" того же автора, впервые опубликованная в 1851 г., рекомендует список важнейших продуктов, которые необходимо иметь про запас, включает не только муку и масло, яйца и сахар, но и такие предметы импорта как английский перец, кардамон, корицу, мускатный орех, мускатный цвет, чернослив, сладкий и горький миндаль, три разновидности макарон и вермишель [50].

Консервативным авторам, рассматриваемым в данной статье, отчасти удалось выполнить свою миссию. Труды Левшина, а позднее Авдеевой (чья "Ручная книга" вышла 11 изданиями, остававшимися в продаже до конца 1870-х годов) породили отечественную традицию жанра рекомендаций, которая несмотря на свою зависимость от иностранных образцов, была лучше приспособлена к русским условиям, чем случайные плагиаты французских и немецких источников, выполненные их предшественниками и соперниками. Усилия этих пионеров заложили основы для

<sup>13</sup>О туалете см. [38. С. 319–321], где предполагается, что в домах обычно имеется земляное "отхожее место", при этом "богатые люди могут употреблять английские стульчики или ватерклозеты".

<sup>14</sup>В XIX в. лимоны были дорогой роскошью. В "Семейной хронике" С.Т. Аксакова мать Багрова, спрашивая их у соседей, становится причиной переполоха, поскольку местные жители никогда не слышали об этом фрукте. И.М. Радецкий [49], приводя продуктовые цены на 1852 г., указывает стоимость мессинских лимонов от 30 копеек до 7.50 за десяток в зависимости от времени года (ср.: за фунт зеленого горошка 2 рубля и максимум 2.50 за фунт осетровой икры).

появления знаменитого домашнего оракула, Елены Молоховец (чей "Подарок молодым хозяйкам" был опубликован впервые в 1861 г., почти через двадцать лет после книги Авдеевой), а позднее и таких писателей как Мария Ределина и, конечно, авторов "Книги о вкусной и здоровой пище" (1939) сталинской эпохи. Однако идеологическим высказываниям националистов-консерваторов о быте все же недоставало логики и связности. Как члены образованной элиты, если не аристократической плутократии, они, предлагая в своих трактатах модели альтернативного, "подлинного" поведения, оказывались лицом к лицу перед дилеммой. Западные товары и западный этикет обозначали роскошь, неискренность и непатриотическое потакание своим прихотям. С другой стороны, принятие материальной культуры, обычаев и манер русского крестьянства (единственная сохранившаяся связь в "подлинной традиции") означало пожертвовать социальным статусом, который также был важнейшей составляющей самосознания (*identity*) *среднего состояния*. Одно дело отрастить бороду и одеть косоворотку (театральный жест национальной солидарности), и совсем другое обедать исключительно *щами, кашей* и черным хлебом из рациона крестьянской избы, поселиться со всей семьей в одной комнате, забыть иностранные языки (или не обучать им детей), а библиотеку составить из церковного календаря и трех религиозных книг. Оппозиционные "просвещению" теоретически, практически консерваторы являлись таким же его порождением, как и их радикальные противники. Когда Иван Аксаков с горечью говорил о противоречиях ситуации *простого человека*, затронутого образованием, он мог бы с равным успехом сказать это о себе и людях своего круга: "Современное просвещение в России дается простому человеку через нравственное падение, т.е. он должен в душе своей отказаться от духовных преданий и примириться заранее с тем, что этим преданиям противоречит" [51]. Зависимости от "безнравственных" товаров и текстов Запада, в данном случае, оказалось трудно сопротивляться даже наиболее уверенным в их тлетворности. Самым поучительным уроком, который будущие поколения могли вынести из наставления русских консерваторов, оказалось то, чего авторы в них отнюдь не вкладывали: исторические процессы невозможно регулировать с такой же легкостью, как жизнь в воображаемом поместье, а культурный плюрализм неизбежно подрывает усилия тех, кто более всего уверен в достоинствах унитарной культуры.

© 1999 г. Перевод А.Б. Блюмбаума

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Elias N.* Über den Prozess der Zivilisation. Basel, 1939. Bd. 1–2.
2. *Bourdieu P.* Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste / Trans. R. Nice. London, 1984; *Davidson C.* A Woman's Work is Never Done: A History of Housework in the British Isles, 1650–1850. London, 1986; *Vigarell G.* Concepts of Cleanliness: Changing Attitudes in France since the Middle Ages. Cambridge (UK), 1988.
3. *Kasson J.* Rudeness and Civility: Manners in Nineteenth-Century Urban America. New York, 1990; *George A.St.* The Descent of Manners: Etiquette, Rules and the Victorians. London, 1993; *Davidoff L.* The Best Circles: Society, Etiquette and the 'Seasons'. 2nd ed. London, 1986.
4. Classic Russian Cooking: *Elena Molokhovets*. A Gift to Young Housewives. Bloomington (Indiana), 1992.
5. *Gorham M.S.* From Charisma to Cant: Models of Public Speaking in Early Soviet Russia // Canadian Slavonic Papers. 1996. Vol. 38. № 3–4. P. 331–356.
6. *Миртов А.В.* Уменье говорить публично. М., 1925; *Крени В.М., Эрберг К.А.* Практика ораторской речи. Л., 1931.
7. *Муранова О.С.* Как воспитывали русского дворянина. М., 1995. С. 10.
8. *Соколов Д.С.* Светский человек, или Руководство к познанию правила общежития. СПб., 1847. С. 12, 73 [С. IV].

9. Домашняя справочная книга: собрание наставлений, рецептов и – так называемых – секретов по разным отраслям хозяйства и домоводства. СПб., 1885. Т. II. С. II.
10. Правила светского этикета для мужчин / Пер. с английского. СПб., 1873.
11. *Ренин И.Е.* Далекое близкое. М., 1984. С. 135.
12. *Certeau M. de.* The Practice of Everyday Life / Trans. S. Rendall. Berkeley, 1988. P. XIII.
13. *Ходаков М.* Как не надо себя вести. М., 1975. С. 35–36.
14. *Kelly C.* The Etiquette of the Bribe // *Bribery and Blat in Russian Culture.* London, 1999.
15. *Walicki A.* The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Russian Thought. Oxford, 1975.
16. *Boym S.* Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge (Mass.), 1994. S. 26.
17. *Kahan A.* The Costs of Westernization in Russia: The Gentry and the Economy in the Eighteenth Century // *Slavic Review.* 1966. 25. P. 61–62.
18. *Левшин В.* Родословная книга благородных дворян Левшиных, содержащая в себе Доказательства о происхождении их фамилии, времени выезда в Россию, и полковную роспись [...]. М., 1791. С. VI.
19. *Присенко Г.П.* Просветитель В.А. Левшин. Тула, 1990.
20. *Авдеева Е.А.* Ручная книга русской опытной хозяйки, составленная из сорокалетних опытов и наблюдений доброй хозяйки русской, К. Авдеевой. СПб., 1842. С. III–IV.
21. *Фирсов Н.В.* Правительство и общество в их отношениях к внешней торговле России в царствование Императрицы Екатерины II: Очерк из истории торговой политики. Казань, 1902. С. 346–353.
22. *Hume D.* Of Refinement in the Arts' (другое название 'Of Luxury') // *Essays Moral, Political and Literary (1752): The Philosophical Works of David Hume.* Boston; Edinburgh, 1854. Vol. 3. P. 294.
23. *Левшин В.А.* Послание русского к французолюбцам: Вместо подарка в новый 1807 год. СПб., 1807. С. 9–10.
24. *Глинка С.* К почтительницам Хераскова // *Русский вестник.* 1808. № 3. С. 363.
25. *Державин Н.Г.* Стихотворения. Л., 1981.
26. *Гоголь Н.В.* Сочинения. М., 1889. Т. 4.
27. *Киреевский И.В.* О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России. Полн. собр. соч. в 2-х т. М., 1911. Т. 1. С. 174–222.
28. *Wilmot M., Wilmot C.* The Russian Journals. London, 1934.
29. *Левшин В.* Полная хозяйственная книга, относящаяся до внутреннего домоводства как городских, так и деревенских жителей, хозяев и хозяек. В десяти частях, с рисунками. М., 1813.
30. *Левшин В.А.* Русская поварня, или Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов. М., 1816. Известие к части IV.
31. *Рудольский А.* Архитектурный альбом для хозяев, содержащий в себе более 100 архитектурных чертежей, нужнейших для сельских строений, как-то: сельских домов, конных и скотных дворов, овинов, садов, колодцев, печей для риг и овинов и многих других рисунков, касающихся до сельского домостроительства. М., 1939.
32. *Страхов Н.* Карманная книжка для приезжающих в Москву старичков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и проч., или Иносказательные для них наставления и советы, писанные Сочинителем Сатирического Вестника. М., 1795. Ч. 1. С. 9, 18, 71, 82, 88.
33. *Толстой Л.Н.* Несколько слов по поводу книги "Война и мир" // *Собр. соч. в 30-ти т. М., 1963. Т. 7. С. 387–388.*
34. *Johnson S.* London. Selected Writings / Ed. P. Cruttwell. Harmondsworth, 1968. P. 45.
35. *Cole M.* Lady's Complete Guide; or Cookery and Confectionery in All Their Branches. London, 1789.
36. *Davidson A.* The Natural History of British Cookery Books', A. Kipper with My Tea. London, 1988. P. 104.
37. *Авдеева Е.* Записки о старом и новом русском быте. СПб., 1842. С. 114, 133.
38. *Чаруковский А.* Народная медицина, примененная к русскому быту и разноклиматности России. СПб., 1844. С. XXIII.
39. *Глинка С.* Кузнецкий мост, или Владычество моды и роскоши // *Русский вестник.* 1808. Ч. 3. С. 335.

40. *Шетарди Т. де ла*. Наставление знатному молодому господину, или Воображение о светском человеке. Переведено с французского на русский язык Лейб-Гвардии Измайловского полку Подпрапорщиком Иваном Муравьевым [...] СПб., 1778. С. 3.
41. О воспитании девиц, сочинение г. Фенелона архиепископа дюка Камбрийского, перев. Иван Туманский. СПб., 1763.
42. Письма госпожи де Ламберт к ея сыну о праведной чести и к дочери о добродетелях приличных женскому полу. СПб., 1761.
43. *Aimé-Martin L.* De l'éducation des mères de famille, ou de la civilisation du genre humain par les femmes. Paris, 1834. Vol. 1–2.
44. *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А.С. Пушкина: библиографическое описание. СПб., 1910.
45. *Kiseleva L.* The Archaistic Model of Behavior as a Semiotic Object // *Poetics of the Text: Essays to Celebrate Twenty Years of the Neo-Formalist Circle.* Amsterdam, 1922. P. 28–34.
46. *Lukashevich S.* Ivan Aksakov 1823–1886: A Study in Russian Thought and Politics. Cambridge (Mass.), 1965. P. 17.
47. *Аксаков И.С.* Письмо А.Ф. Тютчевой от 19 августа 1865 г. // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 25.
48. *Аксаков И.С.* Письмо А.Ф. Тютчевой от 5 октября 1865 г. // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 110, 1.107.
49. *Радецкий И.М.* Альманах гастрономов, заключающий в себе состав блюд девяноста полных обедов, означенных записками русскими и французскими [...]. 2 изд. СПб., 1877. С. 35, 25.
50. *Авдеева Е.А.* Полная хозяйственная книга, заключающая: Поваренное искусство, домоводство, скотоводство, садоводство, цветоводство, с присовокуплением отдела об уходе за детьми [...] 2 изд. СПб., 1868. Ч. 1. С. 4–6.
51. Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. СПб., 1896. Т. 4. Ч. 2. С. 107 (письмо А.Ф. Тютчевой от 14–15 июня 1865 г.).



© 1999 г. В.И. КОСИК

## ЗАБЫТАЯ СТРАНИЦА (ИЗ ПОСЛЕВОЕННОЙ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ЮГОСЛАВИИ)

Война кончалась. Близило освобождение Белграда, чьи жители уже могли слышать приближающееся громыхание советской артиллерии. Многие уезжали. В начале сентября 1944 г. покинул страну возглавитель Русской Православной Церкви За Границей митрополит Анастасий, не поставив даже в известность официальным актом Сербскую Патриархию. Но многие священники оставались, не желая бросать свою паству. Для ряда пастырей освобождение Югославии Красной армией связывалось с надеждой воссоединения с Московским Патриархатом, отношения с которым давно были прерваны по причинам церковно-политического характера. В России так называемую Карловацкую Церковь упрекали в нарушении канонів. Руководство же зарубежной Церкви, возглавляемой вначале владыкой Антонием, а затем митрополитом Анастасием, в свою очередь, считало, что в СССР православная Церковь не свободна в своих действиях и связана с властями.

Осенью 1944 г. в Москву на имя Местоблюстителя Всероссийского Патриаршего престола митрополита Ленинградского Алексия было отправлено многозначительное письмо, подписанное настоятелем Свято-Троицкого храма в Белграде протоиереем Иоанном Сокалем с ходатайством о возвращении на Родину и вхождении в состав Московской Патриархии (1. Д. 18. Л. 23 и об.)

Письмо-обращение не осталось без ответа. В начале 1945 г. глава Русской Православной Церкви в письме к Преосвященному Иосифу (Цвийовичу), митрополиту Скоплянскому писал о предстоящей посылке делегации во главе с епископом Кировоградским Сергием (Лариным) по "деловым вопросам, касающимся наших церковных взаимоотношений и, в частности, по вопросу о переходе в наше ведение Мукачевско-Пряшевской епархии, а также тех русских приходов, которые находятся в ведении Протоиерея Сокала" [1. Л. 35].

Это письмо не осталось тайной для русского духовенства в Югославии и прежде всего для протоиерея Иоанна Сокала. 10 апреля 1945 г. на имя Патриарха Алексия I высылается письмо, в котором о. Иоанн Сокаль просил "принять весь русский приход белградской церковной общины в юрисдикцию Русской Церкви, чтобы наша церковная жизнь в дальнейшем могла протекать под непосредственным архипастырским руководством ВАШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА", подчеркивая, что "моральным основанием для нашего ходатайства служит то обстоятельство, что мы не принимали участия в общем направлении Карловацкого Синода и в его деятельности, направленной к обособлению от Московской Патриархии. И как только представилась возможность, мы и проявили свое настроение в том, что решили остаться на местах,

дождаться прихода Красной Армии и ходатайствовать о воссоединении нас с Русской Церковью" [1. Л. 37].

8 апреля 1945 г. в Белград прибыла ожидаемая делегация Московской Патриархии. В соответствии с данными епископу Сергию (Ларину) полномочиями от Патриарха Алексия I причт и община Свято-Троицкой церкви в Белграде были приняты в каноническое и евхаристическое общение и подчинение Московской Патриархии. Остальные приходы переходили в состав Сербской Церкви в подчинение сербских епархиальных архиереев, как это было, например, на территории Воеводины, в Бачской епархии. Оставшееся там небольшое число русских за неимением русских священников обслуживало сербское духовенство, знающее русский язык и русское духовное пение [1. Д. 991. Л. 3].

Потекла новая церковная жизнь. В 1948 г. протоиерей Иоанн Сокаль, о. Владислав Неклюдов, профессор Всеволод Троицкий были в Троице-Сергиевой Лавре почетными гостями на празднестве 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви.

В 1949 г. в клириках благочиния Московской Патриархии в Югославии числились 17 человек: священники Иоанн Сокаль, Виталий Тарасьев, Владислав Неклюдов, Виталий Лепоринский, Алексей Крыжко, Сергей Ноаров, Александр Мирошниченко, Никон Веселовский, архимандрит Макарий Матвеевко, протодиакон Александр Качинский, архимандрит Антоний Бартошевич, игумен Лука (Родионов), иеромонахи Тимолай (Пастухов), Никандр (Беляков), Феофан (Шишманов), иеродиакон Зосима (Иванович), Савва (Ранисавлевич) [1. Д. 580. Л. 40–41].

Сестры Леснинской (Хоповской) монастырской общины, вошедшие под крыло Московской Патриархии, восстановленные в советском гражданстве и причисленные к Белградскому подворью, ждали возвращения в Советский Союз, о чем было подано соответствующее ходатайство гражданским властям [2].

По мысли Патриарха Алексия I предполагалось их поселить в Ново-Девичьем монастыре. В одной из бумаг Первоиерарх Русской Православной Церкви писал: "В связи с намеченным переводом Богославского Института и курсов из Ново-Девичьего монастыря в Москве в Троице-Сергиеву Лавру – возникает вопрос о замещении освободившихся помещений ... Лучше всего было бы открыть в нем женский монастырь, потребность в котором сильно чувствуется верующими. Однако наполнить монастырь одиночками, хотя бы при наличии опытной игумении, не является желательным. Было бы лучше осуществить перевод туда уже действующего женского монастыря с авторитетной игуменьей. Таким монастырем, годным к переводу, является Леснинский монастырь в Белграде" [1. Д. 134. Т. II. Л. 264].

Однако в ведомстве Г.Г. Карпова (Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР) решение вопроса затягивалось, несмотря на тревожные вести из Белграда. В ноябре 1949 г. о. Иоанн Сокаль в письме к одному из иерархов (видимо, к владыке Сергию) сообщал: "Хоповско-Леснинский монастырь каждый месяц хотят выслать из Белграда, но посольство, слава Богу, отстаивает, ссылаясь на то, что они ждут переезда на Родину.

Американцы, узнавши об их тяжелом положении, уже дважды предлагали перевезти их на казенный счет в Америку, обещая им все выгоды и удобства. Об этом пишут им епископы Никон и Серафим, но матушка-игуменья Нина ответила, что она принадлежит Московской юрисдикции и поэтому не может быть никакого разговора о переезде к отколовшимся от Матери-Церкви ... В случае ее смерти сестры вряд ли выдержат долго такую тягостную жизнь. Уже 7 лет они живут как бы на вокзале, не уверенные, что с ними будет завтра ... Думаю, что больше года они такого испытания больше не выдержат" [1. Д. 580. Л. 7]. Эти слова оказались пророческими.

В 1949 г. на место умершей игумении Нины (Косаковской) заступила монахиня Феодора (Львова). В самой Югославии после фактического разрыва отношений с СССР наступили тяжелые времена для всех тех, кто каким-либо образом был связан с Москвой. Тогда же начались гонения властей и на русских, в том числе и на инокинь.

Не дождавшись ответа, во Францию в июле 1950 г. уехали монахини Леснинского монастыря.

Иной оказалась судьба монахинь монастыря "Благовещение" под водительством матери Диодоры (Дохторовой). В свое время – в 1924 г. – вследствие гонений румынских властей, запрещавших им не только читать русские книги, но и говорить на родном языке (хотя еще в 1919 г. румынская власть провозгласила, что будет уважать национальность и религию), они переехали в Сербию. Все они приняли советское гражданство и ждали возвращения на Родину.

Определенную надежду им внушали слова сотрудника Московского Патриархата Л.Н. Парийского, к которому они обратились в 1946 г. с просьбой о ходатайстве перед Патриархом об их приеме и покровительстве, передав соответствующее прошение. Тогда он ответил: "Будьте спокойны, вас безусловно примут, считайте, что вы уже имеете монастырь, но когда это будет, сказать сейчас не могу" [1. Д. 719. Т. 1. Л. 82].

Ожидание растянулось на годы. В 1950 г., уже из Албании, из монастыря св. Власия вблизи Дураццо вновь последовало слезное обращение тому же Парийскому. Там были и такие строки: "Нас изгнали из Югославии, потому что мы подданные СССР и потому, что мы не скрывали, что любим свою родину. Мы в Албании. Здесь нас очень хорошо приняли и гражданские и церковные власти, но Вы можете понять, как прискорбно не понимать языка, на котором совершается богослужение". Завершала письмо просьба о ходатайстве перед Патриархом об их приеме на Родину, "где бы мы могли служить Богу, православной Церкви и народу под окрылией родной, любимой церковной иерархии" [1. Д. 719. Т. 1. Л. 82].

Нельзя сказать, что Патриарх бездействовал: была отослана денежная помощь в размере 10 тыс. рублей, возбуждено ходатайство о въезде инокинь в СССР и размещении в одном из женских монастырей [1. Д. 723. Т. 5. Л. 112]. Но решающее слово принадлежало не ему, а Совету по делам Русской Православной Церкви, без позволения которого ничего нельзя было сделать. А такового не последовало. В 1951 г. глава МИД А.Я. Вышинский сухо сообщал Г.Г. Карпову, что его ведомство согласно с мнением Совета о нецелесообразности въезда монахинь и их священника на территорию СССР [1. Д. 842. Л. 48]: К сожалению, дальнейшая судьба инокинь мне не известна. Скорее всего можно предположить, что они навечно остались на албанской земле.

В Албанию высылались и священники, как, например, Крыжановский Григорий Александрович, Томачинский Дмитрий Северьянович, просившие оттуда о возвращении на Родину [1. Д. 842. Л. 73–74].

Судьбы священства были различны – кого-то ждала депортация, кого-то тюрьма, кого-то смерть.

Одна страница жизни – судьба священника Алексея Крыжко.

В 1949 г. о. Владислав Неклюдов писал Л.Н. Парийскому: "Вообще же здесь для русских вообще, а для сов. граждан в особенности становится вся тяжелее... Вот что здесь происходит.

В связи с резолюцией Коминформбюро местные власти стали подозрительно смотреть на всех сов. граждан, подозревая их в неблагонадежности и даже в шпионстве. Многих лишили службы, многих – пенсии и очень много арестованных совершенно невинных людей ... 11 мая в Сараеве арестован русский протоиерей, настоятель находящейся в ведении о. Иоанна Сокала, как благочинного, русской церкви. Ему, кажется, пришла виза на въезд в СССР, и он, получив из посольства в Белграде вызов, пошел доставать разрешение. Теперь мы, как "иностранцы" не можем передвигаться без специальных в каждом случае разрешений. Когда он, заполняя бланк, написал, что едет по вызову посольства СССР, это вызвало неудовольствие. Вечером к нему пришли, произвели тщательный обыск, взяли пишущую машинку, радиоприемник, фотоаппарат и ... всю наличность церковной кассы, а также, конечно, и его самого и посадили в узилище, где он безвестно пребывает и по сей день. Имя его – о. Алексей Крыжко ... Он писал мне, что больше всего боится, что в



последнюю минуту, когда придет так жадно ожидаемая им виза, его засадят и поездка сорвется. По-видимому, так оно и случилось" [1. Д. 580. Л. 49]. В итоге югославский народный суд приговорил о. Алексея за шпионскую деятельность к 11 годам заключения. Сидевший вместе с ним в тюрьме о. Владимир (Родзянко) в 1952 г. писал Патриарху Алексию I, что о. Алексей просил всем передать следующее: "Скажите там, что все клевета и никогда я никаким шпионом не был, а только лишь хотел быть верным своей церкви, пастве и родине" [1. Д. 991. Л. 4].

Еще одна жертва раздора Сталина с Тито – священник Владислав Неклюдов. Он был арестован, скорее всего, летом 1949 г. по обвинению в намерении по просьбе о. Алексея просить посольство СССР ходатайствовать перед югославскими властями за невинно арестованных в Сараеве. Как писал о. Иоанн Сокаль митрополиту Николаю (Ярушевичу), "эта просьба квалифицируется как шпионаж и за это подвергаются оба большой опасности" [1. Д. 580. Л. 71].

9 декабря о. Иоанн Сокаль сообщал митрополиту Крутицкому: "В ночь с 29 на 30 ноября погиб о. Владислав. Это случилось накануне суда над ним в Сараево, куда его и переслали из белградской тюрьмы ... погиб исключительно благодаря своей честности и доверчивости. Понятно, что такого человека они и не допустили до суда. Он был храбрый, мужественный и бесстрашный; беззаветно любил Родину и преданным ей остался до конца. Его совесть была чиста и потому он не боялся смерти" [1. Д. 580. Л. 75]. По другим данным, он погиб в белградской тюрьме [1. Д. 737. Л. 5].

Солидарного мнения об о. Владиславе был и о. Владимир (Родзянко). Сообщая Патриарху Алексию I о гибели своего собрата, он писал: "Известны мне обстоятельства последних минут протоиерея о. Владислава Неклюдова. Он был поставлен в такое положение, что самое его появление на суде должно было бросить тень на Мать-Церковь русскую и дать повод для вражды к ней церкви сербской. Он предпочел "положить жизнь за други своя" и без колебаний это сделал. "Самоубийством" было названо то, что церковь венчает венцом мученическим, потому что это не был акт отчаяния или безверия, но наоборот – сознательная жертва за церковь, веру и истину. Самых последних минут о. Владислава никто из его тюремных товарищей лично вообще не видел" [1. Д. 991. Л. 4].

Другая судьба ждала талантливого иконописца архимандрита Антония (Бартошевича), ждавшего разрешения на въезд в СССР. Нельзя сказать, что о. Иоанн Сокаль не хлопотал за него перед Московской Патриархией, но она хранила непонятное молчание. В этой ситуации архимандрит Антоний решил вовсе покинуть Югославию, уехав в 1949 г. в Швейцарию. В произошедшем Московский Патриархат нельзя упрекнуть – право принятия решений принадлежало не ему, а прежде всего ведомству Карпова.

На чемоданах жила семья о. Иоанна Сокаля. 14 июля 1948 г. в письме к Патриарху Алексию I он взывал о помощи: "В Белграде все знают, что я несколько лет прошу перевода... Если я не еду, то это объясняют тем, что я сам не хочу, так как нахожу, что на родине живет плохо, хотя я другим советую, или вообще тут священники не нужны, или меня считают недостойным, что унижает меня с моральной стороны. Дети мои советские граждане и, при изменившихся политических условиях, как иностранцы, должны будут уйти со службы. Все это расстраивает нашу семейную жизнь и приводит к отчаянию ... Еще раз умоляю Ваше Святейшество принять меня на любую должность и в какое угодно место, главное – лишь бы в этом году" [1. Д. 422. Л. 89].

Однако соответствующие органы не спешили давать "добро". 9 декабря 1949 г. последовал уже отчаянный вопль о помощи к митрополиту Николаю. "После Владислава, – взывал о. Иоанн, – хотят погубить и меня; на днях вызывали дочь и сообщили, что нашу семью считают врагами югославского народа; это за все то доброе, которое мы оказали им, посвятивши лучшие годы нашей жизни, причем еще добавили, что нам здесь места нет. А когда мы сказали, что ждем визы, то на это представитель Мин. Внутр. Дел – подполковник заявил: "ее вы подождете в другом

месте". Положение очень тревожное, и посему сердечно прошу принять все возможные меры к ускорению визы" [1. Д. 580. Л. 76].

В конечном итоге это обращение возымело свое действие. Виза была получена, и в 1950 г. о. Иоанн Сокаль с семьей прибыл на Родину, получив назначение ректором в Саратовскую Духовную семинарию.

В этой ситуации все заботы о храме и пастве легли на плечи о. Виталия, а затем его сына Василия. Как и отец, он крестил, венчал, исповедывал, укреплял в вере. Я помню его как вечно куда-то спешащего, озабоченного вереницей нескончаемых дел, которые при его безотказности только множились. Скончался он в 1996 г. и похоронен рядом с отцом у северной стены храма Св. Троицы, своеобразным фундаментом которого стала русская земля, увезенная для памяти смертной и живой изгнанниками. Сейчас в церкви трудится уже третий представитель этой семьи, окормляя свою православную паству.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1.
2. Журнал Московской Патриархии. 1946. № 5. С. 42–43.



*Г.В. РОКИНА. Ян Коллар и Россия: История идеи славянской взаимности в российском обществе первой половины XIX в. Йошкар-Ола, 1998. 206 С.*

Книга Г.В. Рокиной, написанная при поддержке фонда С.В. Ястржембского, несомненно привлечет внимание широкого круга читателей, ибо фокусирует в себе комплекс проблем, связанных с развитием возрождающейся "как феникс из пепла" славянской идеологии. Здесь и обращение к ее истокам, и притягательная сила личности Яна Коллара, поэта, ученого, проповедника, "певца славянской взаимности", ставшего символом славянского национального возрождения, и насущная проблема оживления, ослабевших после "бархатных революций" 1989 г., русско-славянских связей.

Монография состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении анализируются историография проблемы и источники, внимание читателя акцентируется на спорных и нерешенных вопросах многогранной деятельности Я. Коллара в широком контексте развертывания национально-политических противоречий в Европе. В первой главе, "Я. Коллар и его время", рассмотрены главные вехи биографии Коллара: детство и юность (1793–1819), пасторское служение и национальная борьба в Пеште, участие в революции 1848–1849 гг. и научная и преподавательская деятельность в Вене (1849–1852). Интересные и яркие эпизоды из жизни словацкого деятеля, почерпнутые из литературы, мемуаров, путевых записок, архивов и периодики, переплетаются здесь с широкой картиной развития национально-освободительного движения в Словакии и других славянских землях.

Наиболее фундирована вторая глава книги, "Ян Коллар и Россия". Автор последо-

вательно анализирует на основе большого количества литературы и источников его отношения с П.П. Кёппеном, М.П. Погодиным, первыми русскими университетскими славистами и путешественниками в славянские земли. Интересны и познавательны заключительные разделы главы, "Коллар в оценке российской периодической печати 1820–1850-х гг." и "Рецензии на основные сочинения Коллара в российской печати" указанного периода.

Книга написана живым и образным языком. Автор проявил недюженную эрудицию и широту кругозора, сумев не только не потонуть в море литературы о Я. Колларе, но и умело систематизировать ее и найти свой, оригинальный аспект исследования. Тщательно проработанные историография и источники помогают ярче оттенить важность собственных архивных находок автора (неизвестные письма Коллара Г. Гетцену, неизданное сочинение Коллара "Боги Ретры", документы о материальной помощи ему от С.С. Уварова и М.П. Погодина и др.)

Заключение подводит итоги исследованию. Г.В. Рокина пытается по-своему решить "извечный" вопрос историографии, был ли Коллар "панславистом"? Она полагает, что "Коллар, впервые теоретически оформивший идею славянской взаимности, волей-неволей вывел формулу панславизма, включающую в себя несколько моментов: противопоставление славянского и германского миров, унификация литературной жизни, языковое единство, необходимость объединительных славянских процессов. Представив эту формулу лишь в культурно-

языковом плане" (С. 197). Вопреки отмежеванию Коллара от политического аспекта "взаимности", современники восприняли его творчество именно в таком смысле: славяне – как "призыв к действию", венгры и немцы – как "угроза всеславянского единения" и передела европейского мира. Контакты Коллара с русскими славистами и поддержка официальными кругами России только усиливали обвинения Коллара в панславизме.

Рассуждения о последующем переплетении исторических судеб словацкого национализма и русского панславизма, автор делает интересное заключение: "Панславизм как идеология интеграционного уровня несомненно включает в себя все возможные объе-

динительные тенденции славянских движений. В зависимости от зрелости и амбиции этих движений панславизм приобретал в истории самые различные формы – от литературных до политических. Постановка России во главу этого движения чаще всего делалась его противниками, пытавшимися представить лидеров славянских движений адептами российской имперской политики" (С. 198).

В заключение добавим, что книга имеет прекрасное полиграфическое оформление, снабжена подробным справочным аппаратом и алфавитным указателем имен.

© 1999 г. М.Ю. Досталь

Славяноведение, № 5

*CZ. PARTACZ. Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888–1908. Toruń. 1996. 282 С.*

*Ч. ПАРТАЧ. От Бадени до Потоцкого. Польско-украинские отношения в Галиции в 1888–1908 годах.*

Книга польского историка Ч. Партача посвящена одному из наиболее значимых аспектов истории украинского народа – польско-украинским отношениям. Автор, уже не раз обращавшийся в своих работах к проблемам межнациональных отношений в регионе [1], предлагает читателю развернутую картину общественной и политической жизни Галиции в XIX – начале XX в., делая акцент на анализе сложных взаимоотношений польского и восточнославянского населения здесь.

Ч. Партач не ограничивался только обозначенным в заглавии периодом. В первой главе своей монографии ("Эволюция польско-украинских отношений до угоды Бадени") он дает подробный анализ путей развития национального движения восточнославянского населения Галиции, выделяя в нем три основные направления, просуществовавшие в том или ином виде до первой мировой войны. Это, с одной стороны, приверженцы идеи общерусского единства, получившие название москвофилов, с другой – сторонники идеи существования самостоятельного украинского народа. Среди последних Ч. Пар-

тач выделяет две группы: "начинающих народовцев", склонных к сотрудничеству с центральными властями ради достижения украинской самостоятельности, и сторонников соглашения с правящей польской элитой и создания польско-украинской федерации. Разделение национального движения восточнославянского населения Галиции на три группировки, отношения между которыми нередко обострялись до предела, было, по мнению автора, одной из причин неудачи соглашения между поляками и украинцами, населявшими провинцию.

Стоит обратить внимание на то, что автор, следуя сложившейся в литературе традиции, все восточнославянское население региона называет украинским. В то же время он неоднократно указывает на то, что в XIX – начале XX в. этот термин имел скорее политическое значение. Украинцами называли себя приверженцы идеи существования самостоятельного украинского народа, отличного от великорусского и белорусского, ставившие своей задачей достижение его независимости. Восточнославянское же население Галиции, прежде всего восточной ее

части, называло себя "русинами", "руськими" и т.п. Термин "русины" или "рутены" (Ruthenen) использовался в Австро-Венгрии и как официальный. Поэтому, на наш взгляд, корректнее было бы не смешивать эти термины и население Восточной Галиции именовать русинами.

Во второй главе, "Соглашение Бадени – Романчука" Ч. Партач переходит к основному вопросу своего исследования – польско-украинским отношениям в условиях поиска компромисса. С назначением в 1888 г. наместником Галиции графа К. Бадени заметно активизировалась деятельность сторонников заключения такого соглашения, которое могло бы ослабить польско-украинский конфликт.

Анализируя причины, побудившие консерватора Бадени начать переговоры с представителями украинской партии "Народная Рада", автор прежде всего указывает на позицию в этом вопросе центральных властей. Ухудшение австро-русских отношений после Берлинского конгресса привело к тому, что в Вене начали с большим вниманием относиться к антирусски настроенным представителям украинских групп ("Народная Рада" и др.). Последние, в свою очередь, постоянно подчеркивали свою лояльность по отношению к Габсбургам. Возможность использования украинского движения в борьбе против России побудила правительство Австро-Венгрии к усилению нажима на польскую политическую элиту с требованием заключения польско-украинского соглашения.

Идеи мирного урегулирования национальных отношений в крае приобретали все большую популярность как среди польских, так и среди украинских политиков. Народовцы осознавали, что дальнейшее развитие украинского национального самосознания, культуры образования в Галиции без поддержки со стороны краевых властей, т.е. поляков, невозможно. При этом создание в Восточной Галиции благоприятных условий для такого развития было для сторонников украинской идеи необходимо, поскольку в этот период в Российской империи был взят курс на противодействие украинскому движению. Не имея возможности развивать свои идеи на территории Российской империи, многие деятели украинского движения стали рассматривать Галицию как плацдарм для развития украинского самосознания и культуры.

В свою очередь, польская правящая верхушка постепенно стала осознавать, что с требованиями русинского населения необходимо считаться. Часть склонялась к сотрудничеству с москвофилами, но Бадени, под

нажимом Вены, вынужден был пойти на контакт с народовцами. После достаточно долгих переговоров и обсуждения условий соглашения в 1890 г. на заседании галицийского сейма было провозглашено начало "новой эры" в польско-украинских отношениях. При этом Бадени подчеркнул, что краевые власти могут поддерживать только такое национальное украинское развитие, которое будет проходить в соответствии с идеями государства, на основе верности трону, связи с католицизмом и западной цивилизацией. С теми из украинцев, которые не признают этих основ (москвофилы и радикалы), и власти, и народовцы должны вести борьбу.

Ч. Партач отмечает, что, в сущности, стороны стремились к удовлетворению взаимоисключающих пожеланий. Польская элита, идя на определенные уступки, надеялась, что народовцы откажутся от борьбы за дальнейшее расширение своих политических прав и сосредоточатся лишь на культурном развитии. Те, в свою очередь, видели в обещанном только первые шаги по пути формирования самостоятельной украинской нации. Таким образом, польско-украинское соглашение было заранее обречено на неудачу.

Именно анализу причин постепенного упадка политики "угоды" Ч. Партач уделил основное внимание. Главный акцент при этом делается им на исследовании роли украинской стороны в данном процессе. Прежде всего он обращается к проблеме роста национализма в среде украинских партий.

С середины 1890-х годов среди народовцев стало усиливаться недовольство компромиссной политикой руководства "Народной Рады", нерешенностью многих проблем. Постепенно в партии наметился раскол, завершившийся в 1899 г. созданием новой, Украинской национально-демократической партии (УНДП). Одним из ее идеологов стал молодой украинский историк М.С. Грушевский, занявший в 1894 г. кафедру украинской истории Львовского университета, создание которой было одним из условий соглашения. Партач считает, что Грушевский привнес свои идеи о борьбе с засильем поляков из Киева, однако сам он в "Автобиографии" писал, что приехал в Галицию горячим поборником идеи "угоды" и именно первые годы пребывания во Львове убедили его в невозможности какого-либо соглашения при существующем порядке вещей, когда вся краевая власть принадлежит исключительно полякам [2]. При участии Грушевского была выработана программа

новой партии, в которой основной акцент делался на политических и экономических требованиях. По мнению автора, с момента создания УНДП можно говорить о новой фазе развития польско-украинских отношений – конфронтационной.

Рост националистических тенденций среди русинского населения, усиление влияния социалистических идей, эскалация конфликта вокруг Львовского университета привели к тому, что в польской правящей верхушке начались поиски нового наместника, человека сильной руки, который мог бы подчинить своему влиянию русинское национальное движение, как москвофильское, так и украинское, и укрепил бы господство шляхты и бюрократии. Таким наместником стал граф А. Потоцкий, известный своими консервативными взглядами. Как консерватор, Потоцкий склонялся больше к сотрудничеству и поддержке москвофилов, чьи общественно-политические взгляды носили умеренный характер и стремился противопоставить их украинским партиям. Такая позиция наместника делала польско-украинское соглашение фактически невозможным. Кульминацией противостояния стал роковой для А. Потоцкого выстрел украинского студента М. Сичинского 15 апреля 1908 г.

Говоря о причинах трагического финала польско-украинского соглашения, Ч. Партач отмечает рост националистических тенденций в галицийском обществе, прежде всего среди русинского населения: "растущий национализм обеих сторон, медленно подпитываемый националистической прессой, привел к созданию своеобразного *regretium mobile*. Механизм националистического отупления, единожды запущенный, дальше действовал сам по себе. Эскалация конфликта, вступление на путь террора увлекли украинскую политическую мысль на бездорожье, поскольку западноевропейская культура не применяла политики принуждения и террора" (С. 248). Здесь нельзя не отметить некоторую пристрастность автора. В этом же упрекают Партача и его украинские оппоненты. В качестве примера можно привести рецензию М. Зимомри и В. Задорожного, опубликованную в "Украинском историческом журнале". Отмечая несомненные достоинства монографии Ч. Партача, украинские историки упрекают его в том, что он пытается основную ответственность за эскалацию польско-украинского конфликта переложить на украинскую сторону [3].

В то же время Ч. Партач не ограничивается анализом польско-украинских отно-

шений. Особое внимание им уделяется роли центральных властей. По его мнению, австрийская бюрократия в сущности не была заинтересована в мирном совместном проживании обоих народов. Поскольку поляки имели влияние на имперское правительство, Вена использовала украинцев для противостояния польскому автономизму и стремлению к независимости, а также влиянию польского Коло в Рейхсрате.

О том, что галицийские власти явно попустительствовали росту как польского, так и украинского национализма, не раз с неудовлетворением сообщал русский посол в Австро-Венгрии [4]. Он же после убийства Потоцкого прямо писал о том, что именно попустительство польских краевых властей "бомбистам" явилось причиной этого печального события.

Все это говорит о том, что при анализе причин усиления польско-украинского антагонизма следует рассматривать возможно более широкий комплекс вопросов, не возлагая ответственность только на одну из сторон конфликта.

Оценивая монографию Ч. Партача в целом, следует отметить глубокую проработку им многих важных аспектов польско-украинских отношений в конце XIX – начале XX в. Прослеживая развитие этих отношений с момента фактического зарождения политического сознания галицких русинов и до момента формирования сильных политических партий, как пророссийской, так и украинской направленности, автор выделяет важнейшие вехи этого развития. Книга представляет несомненный интерес для изучения истории как польского, так и украинского национальных движений в этом регионе.

© 1999 г. М.Э. Клопова

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Partacz Cz.* Stosunki religijne w Galicji Wschodniej. Rusiny łacinnicy i Polacy grekokatolicy // *Rocznik przemyski.* 1991–1992. Т. XXVIII; *Partacz Cz.* Geneza konfliktu ukraińsko-polskiego w Galicji Wschodniej // *Akcja "Wisła" na tle stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku.* Szczecin, 1994.
2. *Грушевський М.* Автобіографія // Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. Київ, 1992. С. 201.
3. *Зимомря М.І., Задорожний В.Є.* Рец. на: *Partacz Cz.* *Od Badeniego do Potockiego* // *Український історичний журнал.* 1998. № 5. С. 151.
4. АВПРИ. Ф. Канцелярия министра. 1908 г. Оп. 470. Д. 31.

*M. TODOROVA. Imagining the Balkans. New York, 1997. 257 P.*  
*М. ТОДОРОВА. Воображаемые Балканы.*

Книга болгарского профессора истории Марии Тодоровой является одним из самых заметных и оригинальных вкладов в проблему исследования создания современного имиджа Балкан.

В центре труда Тодоровой находятся прежде всего две проблемы – восприятие Балкан на Западе как принципиально отличного от европейского культурного пространства и негативный смысловой подтекст, зачастую вкладываемый в термин "балканизм". Именно описанию процесса, благодаря которому, следуя терминологии автора, образ Балкан был "воображен" на Западе и впоследствии подвержен различного рода моделированию, адаптации и трансформации, и уделяет Тодорова основное внимание в своем исследовании. Используемая Тодоровой источниковая база достаточно обширна и представительна и включает в себя записки западноевропейских путешественников, журналистов, высказывания политических деятелей начиная с XVII в. и заканчивая XX в.

Отправная точка рассуждений Тодоровой – констатация близости таких понятий как "ориентализм" и "балканизм" и, как следствие, своеобразного переноса негативных характеристик первого на имидж Балкан. Тодорова, широко используя введенный Э. Саидом термин "ориентализм" (см. [1]), тем не менее совершенно четко разделяет вышеуказанные понятия, указывая на историческую и географическую конкретику второго и принципиальную абстрактность первого. В то же время "балканизм" трактуется автором как один из вариантов ориенталистского дискурса.

Определив постановку проблемы, Тодорова в семи главах своей работы последовательно останавливается на происхождении и истории самого термина "Балканы", проблеме самосознания и культурной идентичности балканской культурной элиты и ее отношения к понятию "Европа", восприятия западными путешественниками XVII и XVIII вв. Балкан как некоего отличного от европейского культурного и социального пространства, на последовавшем в XIX и XX вв. ухудшении имиджа Балкан на Западе и возрождении старых стереотипов о Балканах в

период после окончания "холодной войны" в связи с появлением идеи Центральной Европы.

Интересно, как автор подходит к определению самого понятия "Балканы". В определении балканских границ Тодорова исходит из тезиса, согласно которому культурологически Балканы представляют собой своеобразное "наследство оттоманизма", которое понимается автором как симбиоз турецкой, исламской и византийской культурных традиций. Тодорова обосновывает подобный критерий очерчивания границ тем фактом, что несколько столетий оттоманского политического господства в регионе неизбежно привели к возникновению общего исторического наследия и, признавая факт различной степени влияния этого культурного наследия на балканские страны, относит албанцев, болгар, сербов, греков, румын и большую часть населения бывшей Югославии к Балканам. В то же время сам по себе факт оттоманского господства не является определяющим – так, Тодорова не причисляет к балканским народам венгров, хотя они и находились под господством Порты на протяжении многих десятилетий. Последний случай может упоминать на важность византийской традиции, но ни византийская, ни оттоманская традиции не объясняют принадлежности румын к балканскому культурному пространству.

Впрочем, автор сама признает изменчивость и относительность определения четких географических границ культурологического пространства. На примере Греции автор показывает, как реальные или воображаемые границы Балкан менялись под воздействием политического момента. Так, в период "холодной войны" Греция, будучи членом НАТО, подчеркивает автор, воспринималась на Западе как часть "Запада", точнее – колыбель западной цивилизации. Тодорова показывает, как распад Советского Союза и последовавшее за ним снижение стратегической роли Греции как союзника Запада привели к постепенному возвращению Греции балканского статуса. Подобным же образом идея Центральной Европы, обоснованная чешским писателем



М. Кундерой и столь активно пропагандируемая восточноевропейскими интеллектуалами в 1980-е годы, в 1990-е годы послужила Г. Киссинджеру логической основой для четкого разграничения бывших социалистических стран на исконно европейские – входящие в европейское культурное пространство и, следовательно, могущие претендовать на политическое вхождение в НАТО – Польшу, Чехию, Венгрию, и балканские – Румынию и Болгарию.

Представляет несомненный интерес исследуемый Тодоровой механизм формирования националистического дискурса на Балканах. Рассматривая специфику его зарождения в XIX в., автор трактует "балканизацию" как своеобразный побочный продукт модернизации и, следовательно, европеизации региона. В то же время, несмотря на тот факт, что автора, прежде всего, интересует проблема создания образа Балкан в западноевропейском культурном контексте, Тодорова на примере исследования самосознания балканской элиты весьма удачно развивает тезис о том, что балканские интеллектуалы зачастую сами являются ответственны за определенную обособленность Балкан от европейского культурного пространства, воспринимаемого ими как отличное и принципиально чуждое балканской патриархально-ортодоксальной модели национального сознания.

Полагаем, что попытка анализа создания "западного" взгляда на Балканы, должна предполагать определение такого базового понятия, как "Запад", и отношения последнего к понятию "Европа". К сожалению, исследование Тодоровой оставляет эти вопросы без ответа. Тем не менее было бы неправильно судить о работе Тодоровой на основании того, чего в ней нет. На наш взгляд, главная ценность данной книги состоит даже не в том, что автор правильно указывает на политическую подоплеку стереотипа имиджа Балкан, а в том, что книга Тодоровой предлагает существенно новые подходы и исследовательские приоритеты – акцент на эмоциональном содержании стереотипов, психологических предпосылках националистического дискурса, постструктуралистский анализ самого дискурса с целью выхода за его рамки.

В заключение нельзя не отметить, что благодаря образности, парадоксальности суждений и увлекательности изложения книга М. Тодоровой читается как интеллектуальный роман. Было бы отрадно расширить круг ее читателей, переведа книгу на русский язык.

© 1999 г. *Е. Кареева*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Said E. Orientalism. New York, 1979.*

Славяноведение, № 5

*T. JUDAH. The Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia. New Haven; London, 1997.*

*Т. ЮДА. Сербь. История, миф и распад Югославии*

В силу того, что практически во всех созданных на территории бывшей Югославии государствах местное сербское население было вовлечено в межэтнические конфликты, оно оказалось непосредственным участником балканской трагедии. Западная общественность наделила сербов сомнительной репутацией "агрессоров" и "националистов", обвинив в развязывании войны, территориальных притязаниях и нарушении прав человека.

В этой связи появление рецензируемой книги Тима Юды оказалось вполне своевре-

менным. На ее страницах автор прослеживает историю сербского народа с появления славянских племен на территории бывшей Югославии до последствий "Дейтонских соглашений". Он пытается ответить на вопрос, каким образом сербская национальная идея "сохранила свое значение в период Османского владычества" и что заставило сербов с падением коммунистического режима с таким энтузиазмом принять Сл. Милошевича.

Кто же такие сербы? Жестокие агрессоры или невинные жертвы националис-

тической агрессии и враждебно настроенных средств массовой информации? Т. Юда опровергает обе точки зрения. История любого народа таит в себе ответы на многие вопросы его существования. По мнению автора, в случае с Сербией новый взгляд на историю этой страны может дать объяснение, как и почему стала возможна война на территории бывшей Югославии в 1991 г. Т. Юда полагает, что сербский народ оказался втянут в войну отнюдь не из-за своей особой "предрасположенности" к подобного рода конфликтам и не из-за своего исторического прошлого.

Политическое руководство Сербии пыталось оправдать развязывание войны стремлением спасти сербов, оставшихся за пределами страны. В результате этого "благородного порыва" сотни тысяч сербов лишились своих домов в Боснии. Т. Юда дает подробное описание того, как Сл. Милошевич готовился к военному конфликту, и представляет свидетельства ужасов войны. На вопрос о том, была ли эта война вызвана врожденной ненавистью друг к другу народов Югославии, долгие годы умело сдерживаемой титовским руководством, или простой манипуляцией людьми, доведенными до националистического угара беспринципными политиками, для которых сохранение своей позиции было важнее, чем судьбы миллионов граждан, автор дает неоднозначный ответ. По его мнению, это во многом произошло из-за стечения обстоятельств, роли некоторых личностей и их ошибочных суждений. Сербский народ оказался втянут в военные действия исключительно благодаря своему правительству и его политике, которая не имела ничего общего с демократическими идеалами...

Ловко манипулируя прошлым Сербии, исторической памятью сербского народа и используя средства массовой информации для нагнетания националистической истерии, сербские политики сделали все, чтобы идеологически подготовить очередную войну, на этот раз внутри границ собственной страны. Однако, по мнению автора, это не снимает ответственности с народа. Т. Юда подчеркивает, что несмотря на то, что сербы были введены в заблуждение, они не имели права ограничиваться пассивным неприятием действительности. Существовавшая в первой половине 1990-х годов в Белграде антивоенная группа так и не стала значительной силой, способной повлиять на ход событий, так как вместо того, чтобы оказать поддержку этому движению, десятки тысяч сербов предпочли эмигрировать.

Как утверждает сам автор и что очевидно

для любого самого невзыскательного читателя, книга не может рассматриваться как анализ непосредственных событий, которые привели к войне в Югославии. Т. Юда поставил перед собой задачу соединить вместе "историю, политику и войну", что в некоторой степени объясняет тематику и хронологию книги. Постоянно обращаясь к событиям из истории Сербии, таким как битва на Косовом поле в 1389 г. или вторая мировая война, Т. Юда придает своему произведению черты популярной литературы и в то же время демонстрирует актуальность этих событий для современной ситуации в стране. В частности, автор, углубляясь в события дней минувших, усматривает в Балганских войнах прецедент для проведения массовых этнических чисток и вынужденных миграций сотен тысяч людей. По его мнению, события, развернувшиеся в Югославии в конце XX в., во многом повторяют то, что происходило в начале столетия.

В то же время Т. Юда порой отвлекается от описания исторического прошлого, акцентируя внимание на событиях последних лет. По всей видимости, это было крайне непредусмотрительно с его стороны, поскольку с течением времени книга потеряет ту актуальность, которая служит ее отличительной чертой и немаловажным достоинством.

Неоспоримым преимуществом книги является попытка автора преподнести сербскую историю в доступной форме и восстановить справедливость в интерпретации ряда исторических событий, которые искаженно освещались как в сербских, так и в западных средствах массовой информации. Однако явное увлечение событиями последних лет отразилось в крайне неравномерном распределении материала. Так, из 16 глав книги лишь шесть посвящены истории Сербии до середины XX в. (всего 150 страниц), а остальные десять глав касаются непосредственно событий 1990-х годов.

Автору удалось воссоздать ход событий, приведших к войне в Югославии. Возможно, ему также удалось ответить на вопрос "кто виноват?". Однако Т. Юда не смог объяснить, почему это случилось. Он не стал углубляться в процесс распада федерации, хотя это помогло бы дать объяснение причин вооруженного конфликта, развернувшегося на территории бывшей Югославии. Возникновение войны было обусловлено прежде всего самим характером этого распада, который означал самоопределение не только неполноправных народов, но и бывшей государствообразующей нации – сербов, а также специфическим соотношением

политических сил в стране в целом и в каждой республике в отдельности. Война была подчинена логике эволюции кризиса в Югославии, независимо от субъективных стремлений и чисто политических интересов отдельных группировок.

Безусловно, описательный характер книги не предполагает создания концепций.

Да и вряд ли автор ставил перед собой подобную задачу. Основное достоинство книги Т. Юда заключается в доступном изложении и комментировании событий, а также в ее своевременном появлении.

© 1999 г. Е. Усенко

Славяноведение, № 5

*Б. ВИДОЕСКИ. Дијалектите на македонскиот јазик.* Скопје, 1998. Т. I. 365 С.

*Б. ВИДОЕСКИЙ. Диалекты македонского языка. Т. I*

Рецензируемое издание представляет собой капитальный труд – плодотворный итог всей многолетней научной деятельности одного из ведущих македонских лингвистов, академика Македонской академии наук и искусств профессора д-ра Божидара Видоевского (1920–1998). Жаль, что этот труд вышел из печати уже после кончины его создателя.

Божидар Видоевский родился в патриархальной крестьянской семье в горной местности, называемой Поречье (Западная Македония). Последний ребенок в многодетной семье, уклад которой можно назвать задругой, он с ранних лет проявил способности к учению и по инициативе сельского учителя был отправлен в интернат в г. Прилеп, а затем и в гимназию в один из городов Сербии. Естественно, в период между двумя мировыми войнами дети из Вардарской Македонии (Вардарской бановины как административной единицы королевской Югославии) могли получать образование только на сербском языке. В 1949 г. Б. Видоевский заканчивает философский факультет только что образованного Скопского университета, где обучение велось на кодифицированном в 1945 г. македонском языке. Это первое поколение выпускников молодого университета дало македонской науке немало видных ученых. Среди них Б. Видоевский, пожалуй, был самым талантливым. Уже дипломная работа Видоевского о родном пореческом говоре была опубликована отдельной книгой (1950). Вся дальнейшая научная и преподавательская деятельность профессора Скопского университета

д-ра Б. Видоевского была связана главным образом с македонской диалектологией, сравнительно-историческим и сопоставительным славянским языкознанием. Он активно сотрудничал в международных проектах по славянской и европейской диалектологии и лингвистической географии, возглавляя научные коллективы от Македонии и Югославии по Общеславянскому лингвистическому атласу (ОЛА), по Общекарпатскому диалектологическому атласу (ОКДА); был членом комиссий Международного комитета славистов.

Рецензируемая книга представляет собой, на первый взгляд, собрание уже публиковавшихся в разные годы работ автора. Однако при подготовке к печати в данной книге старые труды подверглись тщательному редактированию, уточнению и были дополнены новыми данными. Научную ценность книги можно разделить на две главные составляющие: 1) в ней впервые комплексно и системно, на современном научном уровне и большом фактографическом материале описываются славянские македонские говоры (в вышедшем первом томе – как раз самые характерные и главные для исторического развития всей македонской диасистемы – западные говоры); 2) благодаря этому научному труду более полно и четко определяется место македонского языка и его диалектов среди славянских языков и диалектов, а также в так называемом Балканском языковом союзе.

Македонская диалектная территория представляет старую южную периферию всей славянской диалектной территории и

граничит с неславянскими диалектами на Балканах – с албанскими, греческими, а также романскими (влашскими, или арумунскими, и мегленорумынскими). Здесь мы встречаемся как с архаичными славянскими диалектными особенностями (остатками назализма, старого произношения праслав. \*ǣ и некоторыми другими), так и с инновациями, составляющими специфику македонской диасистемы. Инновации представлены главным образом в описываемых в данном томе центральных западномакедонских говорах, которые легли в основу кодификации литературного македонского языка 1945 г. (специфическая просодическая система синтагматического и фонетически подвижного ударения на третьем слоге, аналитическое выражение синтаксических отношений в имени, постпозитивный "тройной" член, своеобразная модально-темпоральная система глагольных форм и т.д.). Историческое развитие македонского языка как одного из славянских языков на Балканах уникально и в то же время типично для балканских языков. Славянские македонские говоры окрестностей г. Солуни (современный г. Салоники) легли в основу первой древнейшей кодификации славянских языков свв. братьями Кириллом и Мефодием – старославянского языка (IX в.), сохранявшего свою значимость для всего славянского православного мира в течение более тысячелетия. Тем не менее, главным идиомом македонских славян в течение всех этих веков продолжали оставаться македонские диалекты, сосуществовавшие с официальными иноязычными идиомами господствовавших на данной территории в разное время различных государств. Формирование современного македонского литературного языка произошло лишь в середине XX в., когда была создана собственная македонская государственность (1945). И именно благодаря отсутствию собственного стандартного идиома создались максимально свободные возможности для процессов балканизации македонского языка в результате взаимного влияния контактирующих неродственных балканских языков, которое шло именно на уровне диалектных стратов. В рецензируемой книге эта сторона развития македонских говоров представлена также достаточно полно, и специалисты по балканскому языкознанию в своей работе могут, без сомнения, опираться на данное исследование македонских диалектов.

Опубликованный первый том трехтомного труда Б. Видоеского по македонской диалектологии состоит из двух частей. В первой представлена общая часть, по-

зволяющая в полной мере понять место македонских диалектов среди других славянских и балканских языков и их систему. Отдельные главы (разделы) посвящены: диалектной дифференциации македонского языка; этапам диалектной дифференциации македонского языка; формированию македонских диалектов; тенденциям в развитии македонских диалектов в XIX и XX вв.; основным диалектным группам в Македонии; македонским диалектам в свете лингвистической географии; проблемам междиалектного контакта в районах с переходными говорами; межъязыковому контакту (на диалектном уровне) как фактору диалектной дифференциации македонского языка; социальному фактору в дифференциации македонских говоров; месту македонского языка среди балканских славянских и неславянских языков (последняя тема, разрабатывавшаяся автором, опубликована в виде тезисов как посмертное издание. Более подробно этот материал, также в виде тезисов и с учетом предварительных набросков автора, работавшего над этой темой до самой своей кончины, опубликован в 1998 г. академиком З. Тополинской в ежегоднике Македонской академии наук и искусств за 1997 г. [Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука, XXII 1–2]).

В конце первой части тома приводится библиография из 77 наименований, представляющая наиболее важные общетеоретические и конкретные исследования по славянской и балканской диалектологии ученых XX в. – Р.И. Аванесова, С.Б. Бернштейна, А.М. Селищева, А. Вайана, А. Мазона, М. Малецкого, Зб. Голомба, А. Белича, П. Ивича, Б. Цонева, Б. Конеского, самого автора и других известных специалистов из разных стран.

Вторая часть опубликованного тома называется "Монографии основных диалектных комплексов" и охватывает описание всех западных македонских говоров, включая как основные, так и периферийные, расположенные на территории Македонии и Албании. Эта часть открывается двумя разделами ("К вопросу о разграничении положских говоров" и "К разграничению говоров района Скопье"), представляющих описание говоров Полога и окрестностей Скопье, относящихся одновременно и к западным, и к северным македонским говорам. Затем представлены монографические описания центральных западномакедонских говоров, а также западных периферийных говоров, состоящих из трех групп – дехрских говоров, охридско-стружских говоров и преспанских говоров; отдельные разделы

посвящены говорам македонцев-мусульман (так называемых торбешей) в Западной Македонии и македонским диалектам в Албании. Следует подчеркнуть, что всем диалектным описаниям предшествовали тщательные полевые исследования говоров, проведенные Видоеским и его учениками. В отличие от первой части тома, где все главы и разделы прошли авторскую редакцию при подготовке к печати, вторая часть представлена в утвержденном автором порядке глав и в авторской концепции, однако отдельные тексты разделов автор не успел отредактировать для публикации в целостном монографическом виде, поэтому в них встречаются повторения, что, впрочем, не мешает адекватному восприятию текста со стороны читателя.

В работе применяется фонетическая и фонологическая транскрипция, принятая в находящемся в печати труде Б. Видоеского "Антология македонских диалектных текстов". К каждому разделу прилагаются прекрасно выполненные карты – в этом заслуга ученика Б. Видоеского М. Марковича. Ответственным редактором первого тома (и, вероятно, последующих второго и третьего) является многолетний ближайший соратник академика Божидара Видоеского академик Зузанна Тополинская, написавшая к первому тому обширное предисловие.

О предисловии следует сказать особо. В нем говорится о роли и значении македонского языка для славянского языкового мира, в том числе о двух кодификациях литературного языка на базе македонских диалектов – старославянского языка (IX в.) и современного македонского литературного языка на базе центральных западномакедонских диалектов (1945); подчеркивается, что македонским диалектам на протяжении веков удалось сохраниться и развиваться без помех со стороны кодифицированного идиома. Описывая македонскую диалектную мозаику, Б. Видоеский всегда видел перед глазами и всю диалектную систему языка в целом. З. Тополинская указывает: "Македонские диалекты представляют бесценный источник новых сведений не только для славистики и балканистики, но и для общей лингвистической типологии. Труды Видоеского могут служить высокопрофессиональным и верным проводником по всему этому богатству, при этом он в максимальной степени компетентен, поскольку многие открытия, как и их уместный синтез, являются его интеллектуальным достоянием" (С. II).

Слависту-македонисту, по мнению Тополинской, труды Видоеского предлагают прекрасное введение в прошлое изучаемого

языкового материала. Македонская диалектная территория, представляющая крайнюю южную и юго-западную периферию славянской диалектной территории, все время подвергалась отторжению к востоку и северо-востоку под напором соседних неславянских диалектов – албанских и греческих. Исследования Видоеского многое дают для изучения древних связей между македонскими и черногорскими диалектами, следы которых сохранились на нынешней территории албанского языка. Видоеский полагает, пишет Тополинская, что современное западномакедонское наречие когда-то оказалось мощным центром инноваций именно потому, что со всех сторон было окружено славянскими говорами; теперь же эти диалекты непосредственно граничат с албанскими диалектами.

Славист-компаративист в трудах Б. Видоеского найдет богато документированное подтверждение основных положений лингвистической теории об особенностях широкой понимаемой языковой периферии, где сохраняющиеся архаизмы дают возможность для реконструкции древних состояний не только македонской, но и вообще славянских языковых диалектов. Иначе говоря, подчеркивает Тополинская, Видоеский хорошо понимал, что лингвистическая география представляет собой запись языковой истории.

Македонские диалекты являются важнейшим источником изучения балканистических языковых процессов и явлений, поэтому они представляют большой интерес для лингвистов-балканистов. Сильная дифференцированность македонских диалектов, наибольшая степень балканизации в них объясняются их центральным положением в регионе и "интенсивным симбиозом прежде всего македонского славянского и ароманского населения именно в этом ареале" (С. III). «Две основные линии развития процесса балканизации – (1) семантическая и морфосемантическая реструктуризация надежных отношений и (2) семантическая и морфосинтаксическая реструктуризация аспектуально-темпоральной и модально-темпоральной систем – во всех деталях "записаны" в македонской диалектной географии и с полной точностью отражены в трудах Видоеского» (С. III). Нельзя не согласиться с автором предисловия и в общей оценке рецензируемого труда Б. Видоеского: "Мне не известен другой подобный синтез, чьим объектом изучения был бы славянский язык во всех его диалектных разновидностях, рассматриваемых как с синхронной, так и с диахронической точек

зрения. Обычно отдельно публикуется синхронный синтез, т.е. актуальная диалектная дифференциация на данной территории, отдельно – диахронический синтез, т.е. так называемая историческая грамматика, в которой история стандартного языка доминирует над развитием диалектных систем, и отдельно – описание социальной дифференциации диалектного языка и т.д. В данном издании один и тот же огромный фактический материал, являющийся предметом описания и анализа, подвергнут также синтезу с толкованием во всех упомянутых аспектах. Это мог сделать лишь автор, которому по плечу и свободное владение материалом, и умение поместить его в широкую теоретическую перспективу" (С. V–VI).

Во втором томе труда Б. Видоеского планируется представить монографические описания говоров юго-восточной диалектной группы и обзор северных македонских говоров. Третий том будет содержать монографии об отдельных структурных особенностях, имеющих ключевое значение для дифференциации македонских диалектов.

Но уже публикация первого тома капитального труда большого македонского ученого Б. Видоеского является важным научным событием в македонистике и шире – славистике и балканистике.

© 1999 г. *Р.П. Усикова*



## Международная научная конференция "Станислав Август и его эпоха: 200-летие кончины последнего короля Речи Посполитой"

1998 год ознаменовался для Польши, и не только для нее одной, но и для Европы в целом, двумя значительными и символическими юбилеями. Двести лет тому назад, в 1798 г., скончался последний польский король Станислав Август Понятовский, и родился великий польский поэт Адам Мицкевич. Два эти события как бы воплотили в себе смену эпох в истории Польши: ушла в прошлое шляхетская Речь Посполитая, символом падения которой стала трагическая судьба Станислава Августа, но на смену ей уже приходило новое национальное движение польского народа, знаменем которого явилось творчество Мицкевича.

Смена двух эпох польской истории, разумеется, была неразрывно связана с революционным поворотом в судьбе всех европейских народов, когда Великая французская революция разбила оковы "старого порядка" и открыла новую эпоху в истории человечества. Примечательно, что и революционная Франция и царская Россия, от позиции которых на рубеже XVIII-XIX вв. в решающей степени зависела судьба Польши, оказались теснейшим образом связаны с личными судьбами последнего польского короля и великого польского поэта – провозвестника новой Польши.

15–16 октября 1998 г. в Варшаве, в Королевском замке прошла Международная научная конференция "Станислав Август и его эпоха: к 200-летию со дня кончины последнего короля Речи Посполитой", организованная Польским обществом исследователей XVIII века. В ней приняли участие сотрудники Варшавского университета, Польской Академии наук, Музея Королевского замка в Варшаве и ряда других научных учреждений Польши, а также ученые из Великобритании, Германии, России и Франции. Заседания проводились в Музыкальном зале Королевского замка, рядом с залом Постоянного совета, учреждению которого принадлежит видное место в политической и реформаторской деятельности короля Станислава Августа. В день открытия участников конференции приветствовали директор Музея Королевского замка в Варшаве А. Роттермунд и председатель Польского общества исследователей XVIII века Т. Косткивечова.

Круг проблем, поставленных участниками, был чрезвычайно широк, а доклады вызвали серьезную дискуссию – что неудивительно, ибо в личности короля Станислава Августа нашли отражение важнейшие явления, тенденции и противоречия эпохи Просвещения. Центральное место на конференции заняло осмысление роли Станиславовской эпохи в польской и европейской истории, чему, в частности, был посвящен доклад К. Цернака (Берлин) "Станислав Август Понятовский – личность короля и его эпоха. Взгляд на состояние исследований", в котором автор сосредоточил внимание не столько на традиционном анализе двух направлений в историографии Речи Посполитой второй половины XVIII в., сколько показал внутреннюю противоречивость самой эпохи, ярко определенную выдающимся польским историком



Т. Корзоном как "расцвет в упадке". К. Цернак высказался в пользу рассмотрения многосторонней реформаторской и просветительской деятельности Станислава Августа в широком компаративистском плане. Однако польские реформы второй половины XVIII в., будучи неотъемлемой частью преобразовательных движений эпохи Просвещения, существенно отличались, по словам докладчика, от практики "просвещенного абсолютизма" тем, что для Станислава Августа путь к просветительски трактуемому освобождению общества лежал через его конституализацию. К. Цернак констатировал, что реформы без абсолютизма в Польше были бы возможны, если бы не интервенция великих держав.

Говоря о двух направлениях в характеристике и оценке Станиславовской эпохи, К. Цернак в качестве примера "позитивной историографии" указал на "монументальное произведение" Ж. Фабра "Станислав Август Понятовский и Европа эпохи Просвещения", вышедшее в Страсбурге в 1952 г. Примечательно, что названная книга оказалась в центре внимания Й. Шлобаха (Саарбрюккен), выступившего с докладом "Фридрих Мельхиор Гримм и Станислав Август", в котором автор на основе анализа корреспонденции немецкого просветителя и польского короля поставил проблему соотношения личности просветителя и степени "просвещенности" общества, указал на плодотворность изучения тройственных контактов Гримма, Станислава Августа и Екатерины II, которые до сих пор рассматривались изолированно. Обращаясь к ставшей уже "классической" монографии Ж. Фабра, Й. Шлобах показал, что использованные в ней приемы цитирования и комментирования источников обусловили формирование негативного образа Гримма, что, по мнению докладчика, Ж. Фабр в работе над книгой "поддался эмоциям, недопустимым для историка". Разумеется, беспристрастность подобной оценки также может быть подвергнута сомнению, а высказанное суждение носит дискуссионный характер в том смысле, что историография, разумеется, не может быть свободна от воздействия общественных движений и направлений общественной мысли, от противоречивых тенденций в развитии общественного сознания, от всего того, что в XVIII в. называли "духом времени".

С этой точки зрения доклад Й. Шлобаха примыкал к следующему проблемному циклу, представленному на конференции и посвященному формированию в польской и европейской общественной мысли образа эпохи и ее символов, одним из которых стал король Станислав Август. Д. Триер (Монпелье) в докладе "Мемуары Станислава Августа" сосредоточил внимание преимущественно на источниковедческих вопросах, однако это позволило ему, наряду с другими важными выводами, выявить эволюцию мотивов работы польского короля над воспоминаниями – от желания в начале рассказать родным о мотивах поступков монарха (редакция 1771 г.), до выяснения причин упадка Польши и разделов Речи Посполитой (редакция после 1792 г.). Таким образом, польский король отошел от задач мемуариста в узком смысле и попытался стать историком своего царствования.

Проблема отражения эпохи и формирования образа Станислава Августа в представлении современников была рассмотрена в докладе А. Гжешковяк-Кривач (Варшава) «У истоков "черной и белой легенды" о Станиславе Августе». Автор указала на особое значение пропаганды для Речи Посполитой второй половины XVIII в., что вполне осознавалось как королем и его сторонниками, так и оппозицией. В докладе выделено три периода (60-е – начало 70-х годов; 70–80-е годы XVIII в. и время Великого сейма 1788–1792 гг.), в течение которых изменялся пропагандистский образ польского короля, пока наконец после принятия Сеймом Конституции 3 мая 1791 г. Станислав Август стараниями своих апологетов не стал изображаться как наместник Бога на земле, передавший власть в руки народа, а народная польза ни объявлена главным предметом королевских забот. В представлениях же оппозиции прежний тезис о Станиславе Августе как о короле-деспоте в этот период уходит в прошлое, а на первый план выступает образ слабого короля, целиком зависящего от влияния двора и фаворитов. Примечательно, что упомянутые утверждения современников Станислава Августа и по сей день нередко оказывают влияние на историографию и публицистику.

О роли в королевской пропаганде образа "короля-солнца" говорилось в докладе А. Норковской (Быдгощ). Автор справедливо указала на образную параллель в европейской культуре эпохи Просвещения, связанную с темой "короля-солнца", который выступал как поэтический символ политического величия, воплощая в себе просвещенность и мудрость монарха. Однако,

как справедливо подчеркивалось в докладе, в отличие от прославляемого светского величия абсолютных монархов, в солярном образе Станислава Августа выступали черты в большей степени правителя мудрого, чем блистательного, а Речь Посполитая при "короле-солнце" представлялась не как грозная держава, а как Аркадия, "тихий расцветающий край".

Идеология века Просвещения нашла отражение и в деятельности Станислава Августа, направленной на развитие польской культуры, на укрепление ее связей с культурой европейской. Этим вопросам были посвящены доклады А. Роттермунда (Варшава) об итальянских художественных контактах Станислава Августа и А. Дзенцол (Варшава) о библиотеке Королевского замка. Чрезвычайно богатое конкретным материалом содержание обоих докладов не только еще раз продемонстрировало высокий уровень польской культуры Станиславской эпохи, но и раскрыло на примере Речи Посполитой общую для европейских стран XVIII в. тенденцию, выражающуюся в королевском покровительстве развитию науки и искусства, что в частности проявилось в этот период в заложении основ многих государственных музеев и библиотек. Однако опыт Польши в этой области имел и свою специфику. Королевские собрания формировались в соперничестве с коллекциями магнатов, что обусловило их большую открытость для общества, чем музеев и библиотек других монархов. К тому же для республиканской Польши авторитет власти, освященный произведениями искусства и книжными сокровищами, не мог бы существовать без доступа к этим богатствам сограждан. Наконец, для Станислава Августа, одного из наиболее просвещенных людей своего времени, собирательство и меценатство были продиктованы не только соображениями престижа, но и внутренними интеллектуальными и эстетическими потребностями.

Однако, несмотря на несомненную значимость вопросов истории общественного сознания и культуры, главное место на конференции все же заняли политические проблемы Речи Посполитой Станиславской эпохи. В частности им был посвящен доклад Р. Буттервика (Белфаст) с полемически заостренным заглавием "Станислав Август Понятовский – просвещенный патриот и космополит". В нем автор показал, как просвещенное европейское общество XVIII в., перспективы которого мыслились некоторыми его представителями как единого сообщества просвещенных людей, воспринимало идею патриотизма, что в силу сословных традиций польской шляхты и под влиянием внешних угроз Речи Посполитой в XVIII в. имело для Польши особое значение. Докладчик убедительно раскрыл, как со времени Великого сейма ассоциировавшийся с именем Станислава Августа "реформаторский и космополитический патриотизм" уступал место в польском обществе, да и в действиях самого короля "патриотизму народному и революционному".

Проблема патриотизма Станислава Августа, но в связи со взаимоотношениями Короны и Литвы была поставлена также в докладе М. Шлусарской (Варшава) «О "литовскости" Станислава Августа». Проанализировав позицию польского короля во взаимоотношениях "двух народов" Речи Посполитой по поводу так называемого литовского сепаратизма, автор пришла к выводу, что политика Станислава Августа не была "ни коронной, ни литовской", а соответствовала интересам государства в целом.

Доклад М.Г. Мюллера (Галле) был посвящен одной из центральных политических проблем Польши XVIII в., а именно диссидентскому вопросу. Исходным тезисом докладчика стало положение о "конфессионализме" как общем принципе сословной и политической системы в государствах XVIII и даже XIX в., который предполагал взаимообусловленность сословного и вероисповедального статуса населения. В Речи Посполитой, по мнению докладчика, ко времени правления Станислава Августа процесс конфессионализации не дошел до конца, что послужило причиной конфликтного характера межконфессиональных отношений внутри сословий и общества в целом, с одной стороны, и создало инструмент для вмешательства великих держав – с другой. Станислав Август поздно осознал характер и значение проблемы, хотя в целом, по мнению докладчика, компромисс был возможен. В ходе дискуссии по названному докладу наиболее активно обсуждался тезис о "толеранции" (веротерпимости) в Польше XVIII в. В частности отмечалось, что следует различать "толеранцию" и "просвещенный католицизм", веротерпимость как таковую и предоставление равных с католической шляхтой сословных прав шляхтичам-некатоликам. Общий вывод состоял в том, что процесс конфессионализации, хотя и присутствовал в Польше, но проходил иначе, чем на Западе.

Особое место принадлежало на конференции проблематике, непосредственно связанной с историей польско-русских отношений. Д. Дуквич (Варшава) выступила с докладом "О.М. Штакельберг и Станислав Август в свете русских дипломатических донесений". Значение упомянутого доклада заключалось, по нашему мнению, не только в детальном анализе одного из важнейших этапов политического кризиса в Речи Посполитой 1772–1773 гг., но также и в обращении польской исследовательницы к русским источникам, отразившим период от подписания Петербургского договора о первом разделе Польши и до начала Сейма 1773 г. Д. Дуквич сосредоточила внимание на начальном периоде миссии Штакельберга в Варшаве, когда со стороны как русского правительства, так и польского короля предпринимались шаги для восстановления политики сотрудничества между Станиславом Августом и Россией, к числу сторонников которого принадлежал и новый русский посол. Основы указанной политики сотрудничества воплотились в марте 1773 г. в "Плане умиротворения Польши".

Проблема потенциальных возможностей и реального воплощения политики сотрудничества между польским королем и русским правительством в период после первого раздела Польши и до уничтожения Великим Сеймом российской гарантии польской конституции была поставлена и в докладе З. Зелиньской (Варшава) – "Причины поражения пророссийской ориентации польской политики в оценке О.М. Штакельберга", который как бы завершал начатую в предыдущем выступлении тему. З. Зелиньская также обратилась к донесениям Штакельберга из Варшавы накануне и в начале Четырехлетнего Сейма 1788–1792 гг., т.е. на завершающем этапе миссии русского посла в Польше. Их исследование показало, что Штакельберг рассчитывал оказать политическую поддержку Станиславу Августу путем заключения польско-русского союза, сторонником которого выступал король, связывавший с осуществлением этих планов надежды на продолжение преобразований в Польше. Русский посол считал, что в интересах Петербурга было пойти навстречу преобразовательным стремлениям передовой части польского общества, чтобы сохранить в Речи Посполитой политическое влияние сторонников ориентации на российскую императрицу и предотвратить назревавшие антирусские выступления в Польше. Однако, как показала автор, предложения посла не согласовывались с планами Екатерины II, которая продолжала настаивать на недопущении реформ государственного строя Речи Посполитой и сохранении равновесия между польским королем и оппозицией, что в новых условиях, сложившихся после 1787 г., еще больше подрывало позиции поляков, ориентировавшихся на сотрудничество с Россией.

Говоря о значении конференции в целом, стоит указать, что ее отличал не только высокий уровень докладов и дискуссии, но также большая работа организаторов, в первую очередь З. Зелиньской, и радушие хозяев.

Думается, что успех конференции заключался не только в том, что было воздано должное памяти последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, но и в том, что она продолжила плодотворную традицию научных дискуссий по всему кругу проблем взаимоотношений европейских стран в XVIII в., о месте среди них Речи Посполитой и ее ближайших соседей.

© 1999 г. *Б.В. Носов*



## Памяти профессора Михаила Бачварова

(1929–1997)

В среде российских ученых профессор Михаил Бачваров всегда пользовался заслуженным уважением и авторитетом не только как высококвалифицированный специалист по истории философии и общественной мысли славянских народов, но и как выдающийся организатор академической науки в Болгарии. В 1974–1991 гг., работая в аппарате Президиума БАН, в том числе на посту заместителя Главного ученого секретаря Болгарской академии наук, профессор Бачваров внес весомый вклад в развитие научного сотрудничества академий наших стран.

Профессора Бачварова и его многочисленные труды в области истории болгарской философской мысли хорошо знают и высоко ценят российские специалисты, занимающиеся историей и историей культуры болгарского и других славянских народов. Новаторские идеи, гипотезы и концепции, выдвинутые ученым в процессе изучения Кирилло-Мефодиевской эпохи, истории болгарского Возрождения, философии Нового времени, его методологические штудии – все это вошло в арсенал современной науки, послужив мощным импульсом ее дальнейшего развития. Многие труды профессора Бачварова, в том числе "Краткая история философской мысли в Болгарии" (1977), переводились на русский язык и стали достоянием широкой российской научной общественности.

В 1994 г. профессор Бачваров был избран Президентом Международной ассоциации по изучению и распространению славянских культур, работающей под эгидой ЮНЕСКО и объединяющей ученых-славистов многих стран мира. На этом посту, несмотря на ухудшение здоровья, он делал все для активизации деятельности ассоциации, для продолжения работы по реализации ее главного научного проекта – восьмитомных "Очерков истории культуры славян" с древнейших времен до наших дней.

Профессора Михаила Бачварова хорошо знали в коллективе Института славяноведения Российской АН не только как крупного ученого, но и как замечательного человека с добрым, отзывчивым сердцем, всегда готового помочь советом, оказать свое содействие нашим ученым в организации работы в Болгарии во время командировок или пребывания на совместных научных мероприятиях. Патриот своей родины и надежный искренний друг нашей страны – таким он останется в нашей памяти.

© 1999 г.

Директор Института славяноведения РАН  
профессор *В.К. Волков*



### Памяти Владимира Мацуры

17 апреля 1999 г. в возрасте 53 лет умер Владимир Мацура – директор Института чешской литературы Академии наук Чешской республики. Это был выдающийся ученый, в котором широкая академическая образованность сочеталась с талантом прозаика, переводчика, эссеиста. Он умер в расцвете творческих сил от тяжелой болезни крови, едва поставив точку в романе, завершавшем его тетралогию об эпохе революции 1848 г.

В. Мацура родился в Остраве 7 ноября 1945 г., окончил философский факультет Карлова Университета по специальности богемистика и англистика, отслужил в армии и поступил на работу в Институт чешской литературы, где последовательно занимал должности от стажера до директора (с 1993 г.).

При столь прямой служебной линии он отличался поразительным разнообразием научных интересов и занятий. В. Мацура прекрасно владел языками – английским, русским, экзотическим для чехов эстонским, с которого перевел до двух десятков романов. "Эстонский уклон" способствовал его сближению со школой Ю.М. Лотмана.

Избрав основной областью своих научных исследований эпоху национального возрождения, В. Мацура подошел к ней с новых методологических позиций, вобравших в себя лотмановский синтез семиотики и культурологии традиции чешской и мировой литературной историографии и пражского структурализма. В монографии "Под знаком рождения. Чешское возрождение как культурный тип" (1983) В. Мацура предложил новую трактовку смысла этой важнейшей для отечественной истории эпохи, показав на обширном материале, что так называемая "возрожденческая сторона" чешской культуры XIX в. была не обновлением старого, а созданием нового, и что общие закономерности европейского процесса осуществлялись в Чехии не только позднее, но прежде всего – иначе, и как именно иначе. В 1998 г. вышла последняя работа В. Мацуры по этой проблематике – монография "Чешская мечта" (отмеченная государственной премией), в которой он предпринял анализ чешских возрожденческих мифов. Эпохе национального возрождения посвящены и романы В. Мацуры "Информатор" (1992), "Комендант" (1994), "Гувернантка" (1997, отмечена государственной премией) и законченный перед самой смертью автора "Медикус". В опубликованной тетралогии выступают реальные исторические лица (Й. Фрич, Л. Челаковский, его жена Антония и др.) и вымышленные герои, рельефно изображены быт и нравы того времени, но при этом романы отличает динамичность сюжета, острота личностных и общественных конфликтов, избирательность композиции, оригинальный стиль.

В. Мацура не ограничивался изучением и описанием отдаленной истории, его привлекала и горячая современность. К анализу послевоенного развития чешской литературы он успешно применил выработанный им семиотико-культурологический метод. Так возникли сборники блестящих эссе «"Счастливые века". Символы, эмблемы и мифы 1948–1989» (1992), где речь шла о послевоенной поэзии, и "Сапоги Масарика" и другие семи(о)фельетоны (1993), где особенно ярко раскрылся лаконичный и остроумный стиль В. Мацуры как полемиста.

Научная основательность (надо отметить, что В. Мацура руководил такими трудами, как двухтомный "Словарь произведений мировой литературы" и "Путеводитель по мировой

литературной теории" (оба – 1988 г.) свободно уживалась в Мацуре с почти гашековским юмором, что проявилось в организации конференции о роли пива и трактиров в чешской культуре, пародийных симпозиумов о выдуманном писателе Кршемне или русалках. Он мог один заполнить произведениями во всех возможных жанрах целый номер еженедельника "Tvar". В последние годы болезнь частенько укладывала его в постель, но как только он, пусть и побледневший, снова появлялся в институте, это был прежний Владимир Мацура – красивый, обаятельный, дружелюбный, всегда готовый помочь. Под его руководством был начат большой коллективный труд – "История чешской литературы после 1945 года"...

© 1999 г.      *С. Шерлашмова*

## Новые издания Института славяноведения РАН

- В 1996–1999 г. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:
- \* Болгария и Россия. Сб. трудов Б.Н. Билунова. М., 1996.
  - \* Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996.
  - \* *Виноградов В.Н., Ерещенко М.Д., Семенова Л.Е., Покивайлова Т.А.* Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии. Документы и материалы. М., 1996.
  - \* *Данченко С.И.* Развитие сербской государственности и Россия. 1878–1903. М., 1996.
  - \* *Дмитриев М.В., Флора Б.Н., Яковенко С.Г.* Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – начале XVII в. Ч. I: Брестская уния 1596 г. Исторические причины. М., 1996.
  - \* Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995). М., 1996.
  - \* Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
  - Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень. Вып. 28–29. М., 1996.
  - \* *Николаева Т.М.* Просодия Балкан. Слово – высказывание – текст. М., 1996.
  - \* Обзоры Научного центра славяно-германских исследований. I. М., 1996.
  - \* Очерки истории культуры славян. М., 1996.
  - \* Поэзия западных и южных славян и их соседей. Развитие поэтических жанров и образов. М., 1996.
  - \* "Путь романтический совершил..." Сб. статей памяти Б.Ф. Стахеева. М., 1996.
  - \* Русская эмиграция в Югославии. М., 1996.
  - \* Славянские матицы XIX в. М., 1996. Ч. 1–2.
  - \* Славянские языки в зеркале неславянского окружения. Тезисы международной конференции. 20–22 февраля 1996 г. М., 1996.
  - \* *Титова Л.Н.* Образы и знаки в чешской культуре XVIII–XIX вв. М., 1996.
  - \* *Удунян А.А.* Деятели болгарского национально-освободительного движения XVIII–XIX вв. Биобиблиографический словарь. М., 1996. Т. I–II.
  - \* Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997.
  - \* Балканские исследования. Вып. 17: Церковь в истории славянских народов. М., 1997.
  - \* *Венелин Ю.И.* Грамматика нынешнего болгарского языка. М., 1997.
  - Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953. Т. I: 1944–1948. М.; Новосибирск, 1997.
  - \* История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. I–II.
  - \* Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. М., 1997.
  - \* Македония. Путь к самостоятельности. Документы. М., 1997.
  - \* Материалы "Особой папки" Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений. 1923–1944 гг. М., 1997.
  - \* Натура и культура. М., 1997.
  - Николаева Т.М.* "Слово о полку Игореве". Поэтика и лингвистика текста. "Слово о полку Игореве" и пушкинские тексты. М., 1997.
  - \* *Никольский С.В.* История образа Швейка. Новое о Ярославле Гашеке и его герое. М., 1997.
  - \* Политический ландшафт стран Восточной Европы. М., 1997.
  - \* Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997.
  - \* Славянские соединительные союзы. М., 1997.
  - \* *Фрейдзон В.И.* Далмация в хорватском национальном возрождении XIX в. К истории югославизма и его неудачи. М., 1997.
  - \* *Анишаков Ю.П.* Становление Черногорского государства и Россия (1798–1856 гг.). М., 1998.
  - \* *Волокитина Т.В.* "Холодная война" и социал-демократия в Восточной Европе. 1944–1948 гг. М., 1998.
  - \* *Заборовский Л.В.* Католики, православные, униаты. Проблемы религии в русско-польско-украинских отношениях конца 40-х – 80-х гг. XVII в. Документы. Исследования. М., 1998. Ч. 1.
  - \* *Мургулия М.П., Шушарин В.П.* Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII–XIII веках. М., 1998.
  - \* Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. М., 1998. Ч. 1.
  - \* Славянская идея: история и современность. М., 1998.



- \* Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998.
- \* Слово и культура. Памяти Н.И. Толстого. М., 1998. Т. II.
- \* Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест. 1944–1946. Документы российских архивов. М., 1998.
- \* Февраль 1948 г. Москва и Прага. Взгляд через полвека. М., 1998.
- \* Центральная Европа в новое и новейшее время. М., 1998.
- \* *Шемякин А.Л.* Идеология Николая Пашича. Формирование и эволюция (1868–1891). М., 1998.
- \* XVIII век: славянские и балканские народы и Россия. М., 1998.
- \* Ю.И. Венелин в Болгарском возрождении. М., 1998.
- \* Власть и интеллигенция. Культурная политика в странах Центральной и Восточной Европы. 1920–1950-е годы. М., 1999. Вып. 3.
- \* *Дмитриев М.В., Заборовский Л.В., Турилов А.А., Флоря Б.Н.* Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII в. Ч. II: Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события. М., 1999.
- \* Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999.
- \* Славянские этюды. Сборник к юбилею С.М. Толстой. М., 1999.

Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва. Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения и балканистики РАН, комн. 920. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

**НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ РОССИИ, ПРОФЕССОРАМ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВУЗОВ, УЧИТЕЛЯМ ШКОЛ И ТЕХНИКУМОВ,  
ВСЕМ ЧЛЕНАМ РОССИЙСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА**

В настоящее время в нашей стране широко и беспрепятственно распространяются и пропагандируются псевдонаука и паранормальные верования: астрология, шаманство, оккультизм и т.д. Продолжаются попытки осуществлять за счет государственных средств различные бессмысленные проекты вроде создания торсионных генераторов. Население России обольщается теле- и радиопрограммами, статьями и книгами откровенно антинаучного содержания. В отечественных государственных и частных СМИ не прекращается шабаш колдунов, магов, прорицателей и пророков. Псевдонаука стремится проникнуть во все слои общества, все его институты, включая российскую Академию наук.

Эти иррациональные и в основе своей аморальные тенденции бесспорно представляют собой серьезную угрозу для нормального духовного развития нации.

Российская Академия наук не может и не должна равнодушно взирать на беспрецедентное наступление мракобесия и обязана дать ему должный отпор. С этой целью Президиум РАН создал Комиссию по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований уже начала действовать. Однако совершенно очевидно, что существенного успеха можно достичь только в том случае, если борьбе с псевдонаукой будут уделять внимание широкие круги научных работников и педагогов России.

Президиум РАН призывает Вас активно реагировать на появление псевдонаучных и невежественных публикаций как в средствах массовой информации, так и в специальных изданиях, противодействовать осуществлению шарлатанских проектов, разоблачать деятельность всевозможных паранормальных и антинаучных "академий", всемерно пропагандировать достоинства научного знания, рациональное отношение к действительности.

Мы призываем руководителей радио- и телевизионных компаний, газет и журналов, авторов и редакторов программ и публикаций не создавать и не распространять псевдонаучные и невежественные программы и публикации и помнить об ответственности СМИ за духовное и нравственное воспитание нации.

От позиции и действий каждого научного работника сегодня зависит духовное здоровье нынешнего и будущего поколений!

© 1999 г. Президиум Российской Академии наук

## CONTENTS

### ARTICLES

#### To the 275th Anniversary of the Russian Academy of Sciences

|   |    |
|---|----|
| <i>Aksenova E.P.</i> (Moscow). Academic A.N. Pypin and the Questions of the Ukrainian National Rebirth.....   | 3  |
| <i>Labyncev Yu.A., Shchavinskaya L.L.</i> (Moscow). Between East and West of Europe: Culture of the Peoples in the Great Duchy of Lithuania.....                  | 20 |
| <i>Toporov V.N.</i> (Moscow). Martynas Mazhvydas in the Context of His Times (Toward 450 <sup>th</sup> Anniversary of the First Lithuanian Book Publication)..... | 25 |
| <i>Zinkivicius Z.</i> (Vilnius). The Old Lithuanian Texts Before Martynas Mazhvydas.....  | 33 |
| <i>Kuolis D.</i> (Vilnius). The Notion of "Lithuanian" and "Lithuania" in the Lithuanian Writings.....  | 37 |
| <i>Dini Pietro U.</i> (Pisa). The Notes on the Sources of Baltic Linguistics.....   | 42 |
| <i>Labyncev Yu.A.</i> (Moscow). The Old Lithuanian Writing Cyrillic Tradition and "The Katechysis" by M. Mazhvydas.....   | 48 |
| <i>Dostal' M.Yu.</i> (Moscow). The All-Slavonic Aspect of the Official Nationality Theory.....  | 52 |
| <i>Smolenchuk A.F.</i> (Grodno). The Byelorussian Historiography in the Second Half of XIX – Early XX Centuries and the Creation of the National Ideology.....    | 60 |
| <i>Borisenok E.Yu.</i> (Moscow). The Ukrainization in 1920–1930ies in the USSR as Reflected in the Contemporary Ukrainian Historiography.....                     | 68 |
| <i>Freidson V.I.</i> (Moscow). The Croatian Historiography in 1950–1980ies About the National Ideology Before the Creation of Yugoslavia.....                     | 78 |
| <i>Cally K.</i> (Oxford). The Domestics and the Originality: the Russian Conservators and the Cult of Home, 1800–1860ies.....                                     | 88 |

### COMMUNICATION

|   |     |
|---|-----|
| <i>Kosik V.I.</i> (Moscow). The Forgotten Page (from the Post-War History of the Russian Church in Yugoslavia)..... | 101 |
|---|-----|

### REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

|   |     |
|---|-----|
| <i>Dostal' M.Yu.</i> G.V. Rokina. Jan Kollar and Russia: the History of Idea of the Slavonic Mutuality in the Russian Society in the First Half of XIX Century..... | 106 |
| <i>Klopova M.E.</i> Cz. Partacz. Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukrainskie.....  | 107 |
| <i>Kareeva E.</i> M. Todorova. Imagining the Balkans.....   | 110 |
| <i>Usenko E.</i> T. Judah. The Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia.....  | 111 |
| <i>Usikova R.P.</i> Б. Видоески. Дијалектите на македонскиот јазик.....   | 113 |

### SCHOLARLY LIFE

|   |     |
|---|-----|
| <i>Nosov B.V.</i> The International Conference "Stanislaw August and His Epoque: 200 Years from the Death of the Rzecz Pospolita Last King..... | 117 |
|---|-----|

PERSONALIA

|  |     |
|--|-----|
| <i>Volkov V.K.</i> In Memoriam of Professor Michail Bachvarov (1929–1997)..... | 121 |
| <i>Sherlaimova S.A.</i> In Memoriam of Vladimir Macura .....                   | 122 |
| The New Publications of the Institute for Slavic Studies of RAS .....          | 124 |

*Технический редактор В.М. Пахомова*

---

|                        |                             |   |                  |            |
|------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------|
| Сдано в набор 09.06.99 | Подписано в печать 03.08.99 | Формат бумаги 70 × 100 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> |                  |            |
| Офсетная печать        | Усл. печ. л. 10,4           | Усл. кр.-отт. 6,1 тыс.                              | Уч.-изд. л. 12,2 | Бум.л. 4,0 |
|                        | Тираж 580 экз.              | Зак. 2801   |                  |            |

---

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20  
Отпечатано в типографии "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6  
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

